

**СЕРГЕЙ
АЛЕКСЕЕВ**

СЛОВО

Сергей Алексеев

Слово

«Алексеев Сергей»

1986

Алексеев С. Т.

Слово / С. Т. Алексеев — «Алексеев Сергей», 1986

Герой Гражданской войны, археограф Никита Гудошников, всю жизнь шел к одной цели. На полях сражений с белогвардейцами, под фашистскими бомбами, в старообрядческих скитах он спасал древние книги и искал доказательство тому, что письменность на Руси возникла задолго до прихода солунских братьев Кирилла и Мефодия. И однажды почти нашел – видел своими глазами дохристианское сочинение летописца и песнетворца Дивея...

© Алексеев С. Т., 1986

© Алексеев Сергей, 1986

Содержание

Никита Страстный	5
Кануны и каноны	26
Скитское покаяние. 1961 год	38
Никита Страстный	49
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Сергей Алексеев

Слово

Никита Страстный

У ворот дома Гудошникова сцепились собаки. Тугой, рычащий ком из полуоблезлых кобелей выкатился на середину по-весеннему линияющего узкого переулка. На миг клубок развалился, угодив в кашу тающего снега и грязи, однако в следующий момент схватился еще прочнее и завертелся на месте в безумной пляске собачьей свадьбы. Яростный хрип драки тут же подхватили цепные псы во дворах; давясь на ошейниках, они залаляли остервенело и разом по всему переулку. Ключьями летела шерсть от сбившихся в груды тел, мелькали ощеренные пасти и окровавленные морды. Иной пес, выброшенный из свалки, тотчас же вскакивал и бросался в кучу. Туда же ринулся, сорвавшись с привязи и перемахнув забор, кобель из соседней Гудошниковой усадьбы. Гладкого и степенного пса через мгновение можно было узнать лишь по обрывку цепи.

А сука, пегая, неказистая собачонка, собравшая бродячих кобелей всей нижней части города, приложив уши и поджав хвост, заползла в подворотню дома Гудошникова. Человек, тем временем появившийся в конце переулка, поднял с земли кривую сосновую палку и, озираясь на дерущуюся свору, нерешительно остановился: кто знает, что на уме у одичавшей стаи? Скоро к нему присоединился другой прохожий, и, посоветовавшись, они двинулись в обход: с разъяренными гоном бездомными дворняжками лучше не встречаться...

Никита Евсеевич Гудошников, проводив сына на работу, собирался завтракать, когда услышал за окном отчаянный собачий рык. Вторые рамы были уже выставлены, и Никите Евсеевичу показалось, что схватка идет чуть ли не в палисаднике. Торопливо поставив еду на письменный стол, он прошагал, прихрамывая, к окну и отдернул тяжелую штору. В про светах между тополями, которые окружали дом по периметру, мелькали собачьи тела, спутанные в упругий клубок! Руки у Никиты Евсеевича дрогнули, шевельнулась на щеках седая, еще не расчесанная борода. Припадая на протез – а протез был новый, необношенный и оттого неудобный, – он вернулся к столу и выдернул верхний ящик. Однако тут же с силой задвинул его назад и, тихо выругавшись, оглядел комнату. Между тем шум драки за спиной нарастал. Разом и мощно взлаяли цепные псы, гулко, словно колокол, отозвался им соседский кобель. И тут Никита Евсеевич вспомнил о ружье, купленном два года назад в подарок Петровичу – макарихинскому старообрядцу. Купленном, но так и не подаренном. Ружье было хитрое: внизу дробовой ствол, а сверху – малокалиберный. Для охотника в самый раз, Петрович такое и хотел...

Гудошников выхватил из стола ключи и бросился к двери, занавешенной старым плюшевым ковром с оленями. Повозившись с замками, он распахнул дверь в темную комнату и, не зажигая света, достал из-за шкафа с книгами обернутое в тряпку ружье. Патрончики лежали тут же, за шкафом, вместе с другими подарками для макарихинских жителей – нитками для сетей, фабричными коловоротами, женскими платками – тоже не подаренными до сих пор. Через минуту Никита Евсеевич был уже возле окна и торопливо собирал ружье. Он тяжело дышал, часто выглядывал во двор, спешил и никак не мог соединить стволы с замком. Оказалось, что он совсем не умеет обращаться с охотничьим ружьем, хотя всегда считал себя знатоком всякого оружия и любил его. Наконец, собрав ружье, он запихал скользкий патрончик в ствол и взвел курок. Собаки катались в грязи, мельтешили, то и дело скрываясь за тополями, и стрелять было неудобно. Никита Евсеевич прохромал в соседнюю комнату, распах-

нул створки окна и прицелился. Он всегда стрелял, не прикрывая один глаз, и только немного шурился, прицеливаясь, отчего брови приподнимались вверх и застывали в крутом изломе.

Выстрел щелкнул сухо и коротко. В комнате запахло сладковатым пороховым дымком и горячим ружейным маслом. Эти запахи словно подстегнули Гудошникова. Стремительно перезарядив ружье, он выстрелил еще раз, потом еще, целя в середину распадающегося кома из собачьих тел. Он спешил, зная повадки бродячих псов: стоит им только заслышать выстрел, как тут же кончится даже самая лютая свара. Неистовый накал междоусобной резни моментально сменится всеобщим страхом, и стая вмиг рассеется.

После третьего выстрела на месте драки остался лишь один пес, то ли убитый, то ли загрызенный в потасовке. Убойность у ружья была маленькая, для такой твари, как бродячая собака, не годилась. Это не маузер под винтовочный патрон. Будь он сейчас у Гудошникова – больше половины хозяев городских помоек не ушло бы...

Никита Евсеевич закрыл окно и хотел спрятать ружье, но в это время на улице громко хлопнула калитка и закрипели половицы крыльца. Он вышел в переднюю, подволакивая протез левой ноги, и встал, глядя на дверь. За нею кто-то был, но почему-то не стучался, затаился.

– Кого там Бог послал? – громко спросил Гудошников.

Обитая войлоком дверь отворилась, и на пороге появился человек с сосновой палкой в руке, будто странник с посохом. Он снял шляпу и, отдуваясь, поздоровался. Никита Евсеевич нагнул голову и прищурился, словно выцеливал гостя. Тот же улыбнулся и, потоптавшись, заметил:

– Что же так гостя встречаешь? – Кивнул на ружье. – Или не узнал меня, Никита Евсеич?

– Узнал... – буркнул Гудошников и ссутулился.

Это был Аронов. Хранитель отдела редких книг и рукописей публичной библиотеки. Полноватый и уже немолодой, Аронов страдал одышкой, говорил с трудом, часто переходя при этом на шепот.

– Коли гость ко мне с дубьем, с тем и встречаем, – сдержанно проронил Никита Евсеевич.

– А! – весело отмахнулся Аронов. – Собаки на твоей улице одолели! Обходить пришлось.

– Собаки одолели? – переспросил Гудошников и выглянул в окно. – Собаки давно одолели...

Сука, выбравшись из подворотни, пугливо приблизилась к распластанному посередине переулка кобелю, с оглядкой обнюхала свежую кровь и неторопко затрусила прочь. Кобель неожиданно приподнялся и, проелозив несколько метров по грязи, уткнулся мордой в землю, затих.

Гость и хозяин молчали, не делая попыток возобновить разговор, словно затягивающаяся пауза нужна была обоим в равной степени. Никита Евсеевич стоял у окна с ружьем в руках и сутулил спину под широкой, навыпуск, рубахой. Аронов же, не бросая палки, топтался у порога и с любопытством заглядывал в глубь дома Гудошникова. Дом был старинный, дореволюционной постройки, и состоял из анфилады комнат со снятыми за ненадобностью высокими дверями. Из каждой комнаты был вход в боковушки. Раньше здесь жил профессор университета со своим многочисленным семейством, состоявшим из детей, внуков и племянников. Ухоженная, обставленная старинной мебелью квартира напоминала барский дом, с еднородности навеки заведенными порядками и обычаями, при которых каждой вещи – свое место, а времени – дело. Но когда вскоре после войны сюда перебрался Гудошников, обменявшись с профессором квартирами, в доме раз и навсегда поселился беспорядок. Казалось, все здесь приготовили к ремонту, однако почему-то долго не начинали его, и комнаты медленно зарастали пылью. Кособочились оставленные профессором старинные и обшарпанные диванчики на гнутых ножках, хромали венские стулья, а на потресканных стенах темнели незабеленные квадраты от когда-то снятых картин, густо топорщились гвозди, на которых когда-то что-то висело или было привязано. В передней, на фигурных крючьях вешалки, горой висели изрядно

поношенные пальто, плащи, дождевики, какие-то куртки, словно только что сюда ввалилась толпа народу, торопливо разделась и пропала где-то в глубине просторного дома.

Впрочем, следить за квартирой тут было некому. Гудошников жил вдвоем с сыном Степаном, врачом городской больницы, человеком холостым и занятым на работе.

– Ну, Никита Евсеич! – оживился Аронов, окончательно отдышавшись. – Новость слышал – нет?

Гудошников чуть выпрямился, скрипнул протез.

– Человек в космосе побывал! – вдруг заторопился хранитель. – Каково, а?.. Юрий Гагарин! Первый человек за пределами Земли!..

– Слышал, – отрубил Никита Евсеевич. – Так ты известить меня пришел?

Аронов поставил палку в угол и, взмахнув шляпой, скрестил руки на животе. На него вдруг снова напал приступ одышки: kloкотнуло в горле, и вокруг рта медленно расплылся синеватый оттенок.

– У порога не держи, – справляясь с шумным дыханием, прошептал он. – Скажу, зачем пришел...

Гудошников неловко повернулся и молча захромал сквозь анфиладу, постукивая протезом и прикладом ружья. Аронов понял, что это означает приглашение, с трудом стащил с себя пальто, бросил шляпу на вешалку и двинулся следом. В дальней комнате, приспособленной Гудошниковым под кабинет, хозяин поставил ружье к стене, покопавшись с фиксатором, согнул в колене протез и сел за стол. На столе, поверх бумаг, стоял завтрак Никиты Евсеевича: тарелка с крупными кусками колбасы, хлеб и кружка с чаем. Никита Евсеевич, не глядя на гостя, придвинул тарелку и начал есть колбасу. Аронов присел сбоку, но обещанного разговора не начинал. Он неожиданно для себя отметил, что хозяин ест вроде и жадно, а неохотно, будто насильно впихивает в себя пищу. Колбаса, по всему видно, была вкусная – сухая, с чесночком, возбуждавшим аппетит. Ее глотать надо бы с удовольствием, с наслаждением, – Гудошников же ее как куски глины жевал. Мысли, что хозяину неприлично есть вот так, в одиночку, не приглашая, у гостя даже и не возникло, поскольку при их с Гудошниковым отношениях это было вполне нормальным.

И еще Аронов отметил, что с момента прихода в этот дом независимо от себя фиксирует каждую черточку в поведении хозяина и мысленно сличает ее с уже известными ему. Аронов узнавал и не узнавал Никиту Страстного. Все-таки последний раз они виделись двенадцать лет назад...

– А не рано ли? – вдруг спросил Гудошников, швырнув огрызок колбасы в тарелку.

– Что... не рано? – не понял гость и насторожился. Ему захотелось повернуться и посмотреть, нет ли кого за спиной, поскольку Никита Евсеевич глядел именно туда.

Гудошников насупился:

– Не рано ли, говорю, человек в космос полетел?.. На земле-то еще путем жить не научились. На земле ему еще пусто и холодно, как в космосе... Собаки вон одолевают...

Аронов хотел было возразить, но неожиданно столкнулся взглядом с Гудошниковым. В глазах Никиты Евсеевича таилась ртутная тяжесть, словно его клонило в сон: подрагивали веки, черно поблескивали зрачки, – и не спать для него было мучительно. «Да здоров ли он?» – с испугом подумал Аронов и зашевелился. А Гудошников, резко оттолкнувшись от кресла, вскочил и, далеко выбрасывая протез, кинулся к коврику с оленями. Громыкнула обитая жестью дверь, забренчали ключи...

Хранитель отдела знал, что есть за этой дверью. Тогда, двенадцать лет тому назад, он был вхож не только в дом Гудошникова, но и в эту комнатку, в боковушку, плотно заставленную книжными шкафами. Правда, и тогда – помнил Аронов – Никита Евсеевич не больно-то доверял ему, и если уж впускал в свое хранилище, то непременно стоял за спиной. Хорошо, что ключи от шкафов (опять же наследство профессора) были давно утеряны и можно было

открыть любую дверцу, взять в руки книгу, посмотреть, полистать. Гудошников при этом молчал: книги говорили сами за себя...

В боковушке хранилось собрание книг: около семисот рукописных и старопечатных фолиантов. Впрочем, эта цифра была приблизительной, устаревшей. Она стала известной еще в пятидесятом году, когда одной из аспиранток университета удалось расположить к себе неприступного Никиту Страстного и две недели – по два часа в день – работать с собранием книг. Через две недели Гудошников застал аспирантку за составлением каталога рукописей пятнадцатого века, что строго-настрого запрещалось договоренностью, и выгнал ее, отобрав все записи. С тех пор ни одна нога научного работника не ступала за порог заветной двери, хотя говорили, Никита Евсеевич с неожиданным удовольствием распахивает ее перед гостями, далекими от науки и древнерусской литературы. То, слышно, пустил кого-то из министерства, то школьного учителя истории, а то и вовсе – иностранца. А собрание Гудошникова наверняка с той поры выросло, поскольку он каждый год надолго уезжал в старообрядческие скиты и, опять же по слухам, привозил оттуда вещи редчайшие и удивительные.

Никита Евсеевич запер дверь и, несколько успокоенный, сел за стол.

– Ну, – сказал он, – не ты ли теперь в космос собрался?

– В скиты я собрался, Никита Евсеич, – решительно ответил Аронов. – Потому и к тебе пришел.

Гудошников прищурился. Поднятые брови застыли в изломе, подпирая крупные складки на лбу.

– Мы с университетом разворачиваем программу... – продолжал было Аронов, но вдруг поправился: – Это, конечно, громко сказано... Но уже деньги отпустили, готовим первую экспедицию. Едем пока вдвоем: я и девушка с кафедры...

– Благословляю, – перебил его Гудошников сухо и без интереса.

– Спасибо... Но я не за этим пришел, – проронил Аронов.

– А за чем же еще?! – неожиданно взорвался Никита Страстный. – На что я еще вам нужен?.. Ну и езжайте себе на здоровье, коли собрались! Ищите, спасайте. Вы же ездили в Поморье, мешками книги привозили. Отправляйтесь теперь в скиты. Обходились без меня, и сейчас обойдетесь... Как только совести хватило прийти! Забыл, как ты мне на Дальнем Востоке все дело испортил? Думаешь, время прошло, так я простил?.. Нет, не простил... Надо же! Вспомнил, пришел!

Гнев Никиты Евсеевича прошел так же быстро, как и начался. Через секунду Гудошников уже безразлично смотрел перед собой, лишь тяжелые веки его подрагивали, словно он боролся со сном. Перед Ароновым сидел усталый, дремлющий старик, вынужденный торчать тут и вести неинтересную беседу. И вот такое его состояние как раз насторожило хранителя. Если бы Гудошников сейчас орал, стучал протезом и метался по комнате – все это было бы нормальным. Его стоило только завести, а унять не уймешь, пока сам не успокоится. Не зря же его звали Никитой Страстным. Собираясь к нему, Аронов готовился именно к такому приему. Тем более был слух, что к старости Гудошников сделался еще ворчливее и неуживчивее. Однако хранитель знал маленький секрет, как обуздать крутой нрав Никиты Страстного, – покаяться. После этого, правда, не сразу, но все-таки тот оттаивал и снисходил.

– Вспомнили, Никита Евсеич, – осторожно сказал Аронов. – Вспомнили, что ты злопамятный.

– Да нет, злопамятный я, – тихо промолвил Гудошников. – Все зло, что мне сотворили, помню. Ничего не забыл. И тебя... тоже не забыл. Хватит крутить, говори, что надо.

– Материалы по скитам, – сказал Аронов и, почуяв приступ одышки, стал дышать носом, однако при этом получалось, будто говорит он сквозь зубы: – Мы не знаем, куда ехать, с чего начать. Если первая экспедиция будет вхолостую, на будущий год не дадут денег. Опять ходи и доказывай... Нам бы хоть затраты на экспедицию окупить.

– Ты что же, купцом теперь служишь? – Гудошников прикрыл глаза. – Или приказчиком у купца? Барыш с тебя спрашивают?

– А приходится и купцом, – прошептал Аронов, справляясь с одышкой. – Только б в самом начале дело не загубить. Скиты – не Поморье. Девушка-то эта... к местным старообрядцам пошла – на порог не пустили... Ты же в скитах свой человек, знаешь, с какого бока к ним подходить. Ты уж выручи, Никита Евсеич, помоги. На коленях прошу.

– Так становись на колени, чего сидишь?.. Падай и ползи к ногам, аки блудный сын, – пробормотал Гудошников будто сквозь сон. – Хочу поглядеть: дорога ли тебе экспедиция.

– Не издевайся, Никита Евсеич... Ты же знаешь, я перед тобой могу и на колени встать... Мы по-другому хотим работать, по новой методике. По твоей, Никита Евсеевич, как ты учил.

– По моей методике?.. Да вы хоть знаете мою методику-то? Вы хоть ее понимаете?.. А почему раньше не понимали? Я же звал вас, звал, просил, а вы? А ты, Аронов, чем мне отплатил?.. За книгами они собрались...

– Время пришло, вот и собрались, – не согласился Аронов. – Сам понимаешь, была война, разруха, голод. Сейчас вон и в космос вырвались.

– Старая песня, – отмахнулся Гудошников и наклонился к гостю. – Значит, порядок такой: народ сначала накормить, обувь-одеть, а потом уж и его прошлое спасать? Осталось ли оно, прошлое-то?.. А если и осталось?.. Время, значит, пришло... Я-то всю жизнь, дурак, не так думал. Думал, когда изба горит, надо в первую очередь образа да детишек спасать, потом уж за барахло приниматься. Испокон веков так на Руси было... А выходит, надо все по времени делать. Благодарствуйте, так бы умер – не узнал, так бы и верил...

Он говорил полушепотом, дышал в лицо Аронову, и тот ощущал желание отодвинуться или хотя бы отвернуться. В уголках пересохших губ Никиты Страстного медленно накапливалась клейкая пена. На какой-то миг Аронову показалось, что Гудошников сейчас выскажется, вымечет перед ним всю обиду и, освобожденный, откроет комнату-хранилище, выложит материалы, берите, мол, пользуйтесь моими трудами.

Однако Никита Евсеевич перевел дух и зашептал сбивчиво, не договаривая слова и фразы:

– Издеваться?.. Буду... Еще как буду. Смеяться буду. Я ждал, ох как ждал... Придете ко мне, приползете... Дай – скажете... Моя взяла... Иначе бы не пришел! Двенадцать лет не показывался... Пришел. На коленях просишь... Вы что, за дурака меня... Неужели впрямь подумал – я тебе бумаги дам?

– Надеялся на благоразумие, – проронил Аронов и внутренне содрогнулся: взгляд Гудошникова поблескивал черно и нездорово, мраморно белели раздутые крылья носа.

– Благоразумие, – выдохнул Никита Евсеевич. – А когда я вас призывал к нему. Когда по Руси костры горели. Когда книги в огонь, в грязь. Благоразумие... Когда ты кержаков грабил, обманом книги брал – тоже благоразумие? Куда ты дел книги из скитов? Почему их в твоём отделе нет? Где они? В подвале! В сырости! Крысам на съедение отдал! Я все знаю, что у тебя творится, все! Не смотри, что дома сижу!.. Что, тоже благоразумие?!

– Но книги еще не разобраны, не описаны, – попытался оправдаться Аронов. – Там сухо теперь, крыс потравили...

– Знаю, что ты хочешь! – обрезал Гудошников. – Знаю! В подвале сгноить, в сейф запечатать! На кой же ляд собирать тогда? Зачем? Для кого? Нет, пусть книги у кержаков будут! Там они не пропадут! Там их читают!

– Ты успокойся, Никита Евсеич! – отпрянул Аронов. – Что с тобой? Успокойся.

– Все меня успокоить хотите... – забормотал Гудошников. – Время не пришло... Общественное сознание не созрело... Гудошников сумасшедший, прожекты сочиняет... Рукописное наследие... План спасения!.. Я знаю. Знаю, что вы про меня... Скупой рыцарь. Над золотом

чахнет... Знаю! Свое собрание от народа прячет. От народа не прячу! От вас – прячу! От тебя прячу... Бродячие собаки одолевают...

Аронов встал и под его бормотанье направился в прихожую, ступая осторожно и подавляя желание оглянуться. Неожиданно он подумал, что впервые в жизни так близко видел и разговаривал с сумасшедшим, а то, что Никита Страстный болен, теперь казалось несомненным. Следовало бы понять это раньше и сразу уйти, либо уж не начинать этого разговора...

Торопливо накинув пальто, Аронов вышел на улицу и огляделся в поисках телефонной будки: оставлять Гудошникова в таком состоянии одного нельзя, нужно вызвать «скорую», пусть дадут успокоительное, сделают укол... Какой-то мужчина, опустив голову, волок по переулку мертвую собаку. Аронов шагнул к нему, намереваясь спросить, где ближайший автомат, однако услышал сбивчивый шепот.

– Эх, люди, люди... – бормотал человек, – эх, люди...

В этот день отдел редких книг и рукописей был закрыт для посещений. На столах крошечного читального зала вверх ногами стояли стулья. Екатерина Ивановна, пожилая, бледная женщина, работавшая здесь библиотекарем и техничкой одновременно, пылесосила старый ковер. Запертую изнутри дверь изредка кто-то дергал снаружи, отчего Анна и Оловяnnиков переглядывались и подходили к барьеру, отделявшему читальный зал от хранилища. Екатерина Ивановна бросала хобот воющего пылесоса и торопливо семенила к двери.

– Черным же по белому... – бубнила возле дверей библиотекарша. – Закрыто. Санитарный день... Аронова нету, когда будет – не знаю.

Аронова ждали уже часа три. Директор краеведческого музея Оловяnnишников по-хозяйски открывал шкафы, брал и листал книги – листал просто так, только бы занять себя – и время от времени пытался наладить разговор с Анной

– А скажите, сударыня, – то ли паясничал, то ли уж в самом деле любил выражаться старомодно директор, – сколько, к примеру, стоит сей фолиант? Если новыми деньгами, конечно?

Анна молчала и отворачивалась. Оловяnnишников ее раздражал. Ишь, хозяин нашелся, как у себя дома: хоть бы разрешения спросил трогать книги. И голос его раздражал – «а скажите, суда-арыня...» А еще действовал на нервы пылесос...

– Когда я работал директором музучилища, – в очередной раз начал Оловяnnишников, – была у меня скрипочка... Ну не Страдивари, разумеется, а мастера другого, но цены, говорят, не имела. Я ее в сейфе держал...

– А директором бани вы не работали? – раздраженно спросила Анна.

Директор музея вскинул голову, секунду глядя обескураженно, затем как-то сник, съёжился, виновато прихлопнул дверцу шкафа. «Зачем же я его так, – пожалела Анна. – Он же ни при чем... Совсем нервы распатались, на людей бросаюсь».

Оловяnnишников не обиделся, лишь вздохнул тяжело, с детским всхлипом, и закончил:

– Представьте себе – украли... Из сейфа украли. И продали одному скрипачу из филармонии. До сих пор на ней играет. Не на концертах, конечно, а дома; запрется ночью – и играет.

«У тебя так и музей растащут», – подумала Анна уже без злости и вслух проронила:

– Извините меня...

– Ничего-ничего, я понимаю, – заспешил директор музея. – Как говорят: ждать и догонять хуже всего.

Вообще-то Анне следовало уважать Оловяnnишникова, поддакивать ему и заглядывать в рот. По крайней мере, Аронов предупреждал ее, чтобы она не прекословила директору музея. Все-таки он сам, по доброй воле, половину расходов на экспедицию брал на себя, вернее, собирався покрыть их из фондов, выделенных на приобретение экспонатов для музея. Однако едва Анна увидела Оловяnnишникова – человека лет за сорок, этакого бодрячка, с привычкой переспрашивать и похохатывать без причины, – вдруг ощутила недоверие и желание дерзить. Зна-

комил их Аронов в ответственный момент, когда обсуждали план экспедиции. Директор музея говорил много, смеялся и сыпал вопросами:

– Что-что? Как вы сказали?

– Проехали, – не сдерживалась Анна и ловила на себе укоряющий взгляд хранителя.

– Как-как? Кто проехал? – бестолково бормотал Оловянишников.

– Татары репу повезли, – язвила Анна...

Он и тогда не обижался, видно, привык, что над ним посмеиваются, смирился, а может, и сам понимал, что порой выглядит более чем наивно.

Между тем Екатерина Ивановна выключила пылесос, и в отделе наконец стало тихо. Плотнo зашторенные окна излучали рассеянный красноватый свет, отчего древняя кожа книжных переплетов слегка рдела, будто угли под пеплом. День был в разгаре, но здесь, в хранилище, что утро, что вечер – всегда одинаково: ровный свет, постоянная температура, определенная влажность.

– Кстати, я понимаю своих посетителей! – вдруг воскликнул Оловянишников. – Они всё норовят руками потрогать. Нельзя, а трогают. Я вот тоже, хожу тут у вас – и, верите, тянет! – Он простодушно развел руками. – Наверное, в самом деле русский характер сказывается!

«Вы еще на зуб попробуйте», – опять хотела съязвить Анна, но не успела. Запор на двери брякнул требовательно и нетерпеливо. Екатерина Ивановна бросилась открывать. Тяжело дыша, в хранилище влетел Аронов, забыл снять плащ и ботинки, – что делал всегда и при любых обстоятельствах, требовал этого и от других, – он пробежал за барьер и рухнул в кресло. Екатерина Ивановна заперла двери, вынула из шкафа тапочки Аронова и невозмутимо последовала за ним.

– Переобуйтесь и дайте плащ.

Он не слышал, подавляя одышку. Голова дергалась, прыгали руки на подлокотниках.

– Я вызвал ему... «скорую», – наконец проговорил он.

Оловянишников насторожился и недоуменно покрутил головой. «А вот и конец первой экспедиции, – подумала Анна и усмехнулась. – Никаких материалов он не принес».

Сколько разговоров было! Всю зиму мечтали – мечтатели. Спорили, придумывали методику поисков и сбора. Смех! Деньги выколачивали, Оловянишникова – мецената и компаньона – из музея вынули! Ах, как поедem по скитам, да как наберем книг! И всем начальникам на стол – раскошеливайтесь, давайте деньги на следующую экспедицию, да не хитрым путем, а прямым назначением. Потом статьи в газеты, в журналы – это для общественного мнения, потом – утвержденный штат научных сотрудников для работы в отделе; потом – реставрационная мастерская...

А вот не дал Гудошников материалов по скитам, и от их планов ничего не осталось. Попробуй теперь докажи, что старообрядческие скиты – это не Русский Север, где за книгами по деревням с авоськой ходили, с чердаков да из подвалов доставали. Кержаки не то что книги – попить не дадут. И куда ехать, где они, эти скиты, кто там живет, с какого боку подступиться? Теперь не о книгах мечтать, а ехать по городам и весям надо, бить челом перед местным начальством и пытаться его о кержаках. Через год-другой, может, что и выйдет.

– Что он хоть говорит? – спросила Анна.

– Что? – встрепенулся Аронов. – Несет околесицу, вздор, старые обиды поминает. А глаза! Вы бы видели его глаза!.. Он больной человек. Никаких бумаг, кричит, не дам!

Он вскочил, тяжело прошелся взад-вперед.

– Что-то надо делать, предпринимать!

– Переобуйтесь и снимите плащ, – повторила Екатерина Ивановна и бросила под ноги хранителя тапочки. – У вас ботинки в грязи.

Аронов поморщился, однако стащил ботинки и, оставшись в носках, снова заметался по хранилищу.

– Он опасен. Вы понимаете: он – опасен! Он может натворить все что угодно.
– Значит, экспедиция отменяется, – вздохнула Анна. – Трест лопнул.
– Какая теперь экспедиция? – отмахнулся хранитель. – Речь о другом...
– То есть, как понимать? – спросил директор музея. – В каком смысле?
– В прямом, – отрезала Анна. – Сотрудничество не состоялось. Примите соболезнования.
– У него в руках сейчас бесценное собрание, – продолжал Аронов. – Что-то нужно делать, и немедленно. В таком состоянии оставлять его опасно... Ах, Никита Евсеич...

– Простите, но на что вы надеялись раньше? – перебил его Оловянишников. – Разве только на материалы Гудошникова?

– А вы? – подхватил Аронов.

– Я – на вас, – замялся директор музея. – Вы – специалисты в этой области. Я сам пришел, дал деньги...

– Кто знал, что он болен? – Аронов покачал головой. – Я хорошо знаю Гудошникова: будь он в своем уме – материалы бы дал.

– Положение... – задумался Оловянишников. – С вашей стороны как-то все несерьезно...

– Зато с вашей все серьезно! – разозлился Аронов. – Вы думаете, если деньги дали – значит, дело сделано? Это вам не прялки по деревням покупать.

Директор музея, незаслуженно оскорбленный, сник, виновато заморгал, и Анне показалось, что он вот-вот расплачется. Аронов, видимо сообразив, что погорячился, примолк. Несколько минут в отделе была тишина, слышалось лишь, как Екатерина Ивановна негромко двигала стулья в читальном зале.

– Надо спасти книги от Никиты Евсеича, – тихо и уверенно сказал Аронов. – Сердцем чую – пропадут. Теперь это наша обязанность и беда наша. Одна на всех.

Он поглядел на Оловянишникова и Анну, перевел дух.

– Я должна ехать, в любом случае, – сказала Анна. – Я уже собралась.

Аронов смерил ее взглядом, сердито отвернулся.

– Куда ехать? На деревню к бабушке?... Бросьте говорить ерунду. Неизвестно, будет что там или нет, а вот здесь, у нас под боком, пропадает!.. Вопросов нет, надо выручать собрание. Давайте думать – как. Через милицию, через суд, через общественность – как угодно, только спасать.

Анна знала характер Аронова: если упрется – уже не своротишь. Отдел в публичной библиотеке был государством в государстве, а его хранитель – лицом неприкосновенным.

– Так вы сказали – он болен? – подал голос директор музея. – Тогда проще: признать его недееспособным... как это делается, не знаю. А книги изъять. Все законно. Когда я работал директором Дома культуры...

– Собрание Гудошникова – частная собственность, – отрубил хранитель. – Тут такая канитель... Тем более у него есть наследник.

– Тогда я не знаю, – проронил Оловянишников. – К юристам надо...

Аронов подошел вплотную к Анне, заглянул в лицо:

– Ну а вы что молчите? Сейчас все зависит от нас с вами. Вы грозились горы свернуть на благо русской словесности. Случай выпал. Где ваша хваленая женская мудрость?

– Я поеду в экспедицию, – сказала Анна. – Горы сворачивать.

– Шею сворачивать! – рассердился хранитель. – Вся надежда была на материалы Гудошникова. Где они?

– Вам лучше знать... Вы ходили к Гудошникову.

– А может, и вы сходите? Пожалуйста! Заодно полюбуетесь, в чьих руках теперь собрание. Он с ружьем возле него сидит.

– В таком случае чего же волноваться? – усмехнулась Анна. – Никакие воры не страшны...

– Он! Он сам страшен! – возмутился хранитель. – Дошло до вас, нет?

– Дошло, – согласилась Анна. – Поеду искать скиты.

Аронов устало опустил в кресло, хотел было плюнуть, но опомнился и сдержался. Екатерина Ивановна включила пылесос и начала утюжить следы на ковре, оставленные хранителем. Обманчивый рассеянный свет падал на лица и кожаные переплеты книг. Определить, который час, было невозможно. Вместе с температурой и влажностью здесь замирало и время.

Отдел редких книг и рукописей начинался в свое время с пожертвования именитого купца Окоемова. Университет еще только строился, а со всех концов России уже шли посылки с книгами и учебными пособиями от промышленников, купцов и аристократии. Окоемов на строительство десять тысяч рублей отвалил – сумму по тем временам немалую. Жил бы себе со спокойной душой да торговал пушниной и мануфактурой, но нет же, заело, что обошел его Строганов. Кроме денег, прислал тот книг чертову прорву, и все, по слухам, дорогие, старинные. Где уж там тягаться купцу с хозяином Уральского камня, но Окоемов места себе не находил. Среди сибирских купцов он считался человеком просвещенным, передовым, поскольку держал книжный магазин и несколько лавок по малым городам. Правда, лавки эти зачастую торговали канцелярскими товарами, мылом и шпалерой, поскольку возить книги в Сибирь было накладно, но это не меняло сути. Говорят, однажды на заседании строительной комиссии Окоемова шибко раздражили и разозлили: вот, мол, Строганов с Урала книги шлет, а местный просветитель, можно сказать, патриот Сибири, денег дал и на этом заглох. И про мыло, про шпалеру в книжных лавках напомнили. Окоемов был человек заводной, горячий (по этой причине перед революцией разорился в пух и прах), шапку – об пол, рубаху на груди – до пупа и при всем честном народе бухнул: крест нательный заложу, а книги университету пожертвую, да не какие-нибудь – самые дорогие, самые редкие.

Но клятва-то клятвой, а книг взять негде. Поехал Окоемов в Москву, стал ходить по знающим людям, пытаться, где можно купить библиотеку. Месяц пороги у именитых дворян обивал и нашел-таки. Подвернулся ему граф из богатейшей когда-то фамилии. Граф служил на железной дороге, снимал шесть комнат в доходном доме, и две из них были сплошь заставлены книгами. Графиня преподавала на женских курсах, жили на одно жалованье. Если б не титул, Окоемов долго бы и не кланялся, сумел бы деньгами уломать. Однако граф оказался человеком с гонором: дескать, семейные реликвии предками беречь наказано, а потому библиотека не продается, и он, светлейший, не таких купцов со двора гнал. Графиня же, как только услышала сумму, что Окоемов предложил, зудеть начала: уступи, продай. Служанку наймем, да и мясо нынче дорогое. И сдался граф, но цену заломил – в глазах потемнело. Больно дорогие книги-то, твердит, старинные, многими поколениями собранные. Таких теперь, может, всего несколько штук есть во всей России. Отсчитал купец двадцать тысяч с лишком, сунул в графские руки и погрузил библиотеку на семь подвод. Приехал из Москвы и даже домой не заехал – сразу в университет. А через месяц уже громко зевал, сидя на почетном месте при заседании строительной комиссии...

Однако напрасно спешил Окоемов и деньги почем зря разбрасывал. В университете открылся единственный медицинский факультет, и щедрый купеческий дар оказался вроде бы не у дел. Долгое время книги так и лежали запакованными в ящики в самом дальнем углу хранилища. Перед революцией их вытащили, осмотрели, отсортировали и пустили в оборот наравне с остальными книгами библиотеки. Графское фамильное собрание растворилось и исчезло в массе, а Окоемова уже не было в живых. И только в тридцатых годах, когда в библиотеке стал формироваться отдел редких книг, вновь всплыло купеческое пожертвование, да только к тому времени напрочь забыли о настоящем дарителе – купце Окоемове. На всех привезенных им книгах стоял графский герб, пометки нескольких графских поколений, записки на полях.

Лишь в сороковом году Михаил Михайлович Аронов, ставший хранителем отдела, отыскал дарственную грамоту купца и установил истину. Это стало открытием, поскольку считалось, что столь щедрый «дар» университету исходил от обедневшего графа. Он-то, граф, и был возведен в ранг знаменитого мецената и поборника высшего образования в отсталой Сибири. Аронов же разом опроверг все толки и над шкафами, где хранились окоемовские книги, вывесил соответствующую табличку. Рукописные списки пятнадцатого века, да и более поздние, старопечатные, были в плачевном состоянии: настоялись в глухих графских шкафах, натерпелись по дороге из Москвы и належались в ящиках по сырым подвалам. Бумагу и пергамент сверлил книжный жучок, крошила плесень и прель. Четыре года Аронов лечил книги, дезинфицировал каждый лист, восстанавливал переплеты, вытравливал плесень и грязь, отлагавшуюся веками. Книга как человек: она гибнет быстрее от полного покоя и дольше живет в беспокойстве.

Но пришло время, когда даренные книги встали в строй и начали работать, а подкрепления не было. В иной год отдел получал одну-две рукописи, купленные у коллекционеров либо у случайных людей, пришедших в библиотеку сдать редкую книжицу. Правда, Аронову удалось сколотить небольшой обменный фонд, завязалась переписка с другими библиотеками и музеями. Он успешно провел несколько туров двойного и тройного обмена, полагая, что это более или менее надежный способ пополнения отдела, и дважды съездил в экспедиции на Русский Север. Но там уже побывали до него, выбрали, отсеяли все самое ценное, и то, что Аронов привез с Севера, больше годилось для обмена с любителями-коллекционерами.

– Ничего, это вам не издательство «Детгиз», – любил повторять хранитель. – Это вечные ценности. Они добываются, как радий.

И тут неожиданно в Сибирь перебрался известный ленинградский собиратель рукописных памятников и редких книг Никита Гудошников, знакомый Аронову по переписке и статьям, которые время от времени появлялись в газетах и журналах. Переехал вместе со своей библиотекой, даже, по слухам, раза в два большей, чем собрание отдела, не говоря уж о ценности и редкости книг. Для отдела появилась возможность открыть новый источник поступлений – из старообрядческих деревень и скитов, никем еще не тронутых, не пройденных, не обследованных. Пока только среди археографов и любителей старины об этих местах ходили разговоры и легенды, как о книжном Клондайке. Чего только не рассказывали! Где-то в глубине лесов и болот какой-то охотник нашел целый ларь, набитый рукописными и старопечатными книгами. Стоит себе брошенная заимка, а в ней – бесценное сокровище. Приходи бери, но где она, заимка?.. Там, слышно, в какой-то деревеньке объявился умелец-сапожник, который натаскал откуда-то «кожаных» книг прорву и теперь, за неимением настоящей кожи, ставит на сапоги подметки из них. Причем, рассказывают, охотно поучает своих односельчан:

– Ты, паря, кожу-то не только с корок дери. Ты и листики прокладывай. На подметку-то и листики за милую душу идут. Токо много надо, и шпильки почаще бей. Вот на каблук кожу с корок ставь, она старая, а крепкая, собака. Рыбьим клеем еще смажешь – износу не будет!

Трудно себе представить, что где-то ходят люди в сыромятных сапогах на подборе из пергамента. Невероятное кошунство, варварство неопишное, но что делать, если только что отгремела война, а Сибирь к лаптям не приучена. Тут же под рукой настоящая кожа – сыромятина-то на подметки не годится! Мажь пергамент рыбьим клеем, бей шпильки березовые почаще и носи на здоровье...

Но все-таки главное богатство хранилось в руках старообрядцев, ныне живущих, которые из рода в род, от поколения в поколение передавали святые книги и берегли их пуще глаза. Бросить или закопать книгу для них было великим грехом, и то, что оказывалось брошенным или закопанным, обычно связывалось с внезапной смертью либо другой какой трагедией. Так что взять книгу у кержака практически невозможно...

Гудошников же перебрался в Сибирь, чтобы начать работу среди старообрядцев, а Аронов первым поддержал его. Вначале он не придавал особого значения тактике и рассуждениям Никиты Страстного. Идеи ленинградца были высокими, помыслы – чистыми, он умел так заговорить, так сагитировать – чумным от него уйдешь. Не зря еще в гражданскую был Гудошников комиссаром полка, о чем свидетельствовал старый, потертый маузер с гравировкой на магазине, с которым Никита Евсеевич не расставался. Однако после первых двух экспедиций в Забайкалье проявилось резкое различие во мнениях. Гудошников, конечно же, был авторитетом среди археографов, ему можно было доверять, но не так уж слепо. Из Забайкалья они не привезли ни одной книги, хотя им уже не только давали напиться воды, а и пускали под крышу, пускали в святая святых – к книгам. Были возможности уговорить отдать рукопись либо продать, но Никита Страстный сам не делал этого и Аронову запрещал. А книги следовало спасать! По одной, по две, но спасать, потому что легенды о подметках из пергамента в какой-то мере были реальностью.

– Рано еще брать, рано, – увещевал Гудошников. – Пускай люди к нам привыкнут, поверят нам... А книги эти никуда от нас не уйдут.

Он вел со старообрядцами какие-то длинные разговоры, ходил с ними на медведя, ездил на рыбалку, толковал о житье за кружкой медовухи и только о приобретении книг – ни слова. Аронов понимал: у Гудошникова дальний прицел, он хочет сначала подготовить базу, чтобы среди старообрядцев укоренилось мнение, что одноногий человек ходит по скитам и интересуется прошлой жизнью, бытом, а не книгами. Кстати, невидимая связь и обмен информацией у кержаков работали удивительно быстро и безукоризненно. Потом постепенно, внушал Никита Евсеевич, можно перейти и на книги и начать их сбор. Но это хорошо, когда ты на пенсии и работаешь в свое удовольствие. А когда за тобой стоит отдел и ни копейки денег на экспедиции, когда, с великим трудом выбив отпуск за свой счет в дополнение к положенному, уезжаешь за сокровищами, но возвращаешься пустым, и когда с тебя спрашивают за то, что не успел подготовить отдел к учебному процессу, – как же тут?

Аронов решил действовать самостоятельно. В одном из скитов он остался на неделю, сославшись на болезнь, и начал собирать книги. Часть ему удалось взять, используя знакомство Гудошникова со старообрядцами, так сказать, мирным путем. Его принимали как товарища одноногого человека, который считался своим в скитах. Отдавали книги с неохотой, через силу, но все-таки отдавали. Но большую часть книг пришлось брать с боем. Аронов нашел среди кержаков сговорчивого мужика, через него пустил слух, что если скитники не сдадут рукописи сами, то их будут изымать с милицией, поскольку книги теперь переходят государству. Некоторые старообрядцы бросились прятать свои сокровища, как было это во все времена, но были и такие, что принесли и сдали Аронову все до последней псалтыри.

Вернувшись из дальних кержацких сел, Гудошников ничего понять не мог. Аронов уехал, даже не предупредив его, а кержаки вдруг замкнулись, не желали разговаривать, слушать не хотели.

– Обманул ты нас, паря, – тянули. – Обманул, так обманул...

После этой третьей экспедиции на Дальний Восток союз распался.

И теперь, когда отдел, университет и областной музей начали разворачивать программу поиска и сбора рукописного наследия, Аронов вспомнил Гудошникова. Вернее, о нем он никогда и не забывал, а на память пришли его высокие и чистые идеи, за которые Аронов и сам дрался три года. Никита Евсеевич предлагал создать Всесоюзный центр или комитет по спасению малых исторических памятников – ни больше ни меньше. После этого он хотел, чтобы правительство обратилось к народу с призывом о сдаче всех редких и рукописных книг, художественных полотен и икон государству. Он предлагал направлять ученых и любителей старины в самые глухие уголки страны, в действующие монастыри, церкви и религиозные общины для обследования книжных собраний и пропагандистской работы. Предлагал

на уровне посольств начать переговоры со странами, куда в разные времена были вывезены русские рукописи, о возвращении их на родину, в Россию.

Однако главным в его предложениях было то, что смущало всех: обязательным, считал он, должно стать изучение в школах и вузах истории русского языка и письменности (в союзных же республиках необходимо изучать историю своего родного языка), строить народные библиотеки с рукописным фондом. «Это национальный позор, – с обычной прямой писал Никита Страстный. – Наши ученые знают латынь и древнегреческий, современные иностранные языки и эсперанто, наши школьники зубрят чужую речь, но никто, кроме узких специалистов, и строчки не может прочесть на древнерусском. Кириллица для русского человека стала чем-то вроде китайских иероглифов: хоть кверху ногами букву переверни – все одно непонятно. Что за невежество для нашего времени! Физику с математикой изучаем, от Евклида и Демокрита, а язык свой, на котором говорим, думаем, – лишь самый его кончик. Какое слово познал человек от рождения – с тем и умер. Что было до него – так во мраке и остается. И тает, и сыплется словарное золото из худого мешка...

Если вы вдруг ощутили в своем сознании неясную, но открывающую какую-то истину мысль, если у вас «на уме кружится» гениальная или самая простая истина, а на свет так и не рождается, и если, наконец, вы просто не в силах сказать словами то, что в вашей голове, – вам в первую очередь нужно изучить свой язык, а не дополнительные сведения о предмете. Не зря все ученые-энциклопедисты досконально владели родным языком. Не случайно Ломоносов писал стихи и работы по русскому языку. Когда у человека беден словарный запас, ему не только говорить нечем, а и думать тоже. Ему надо перелить мысль в форму слова, а формы нет! В технических вузах русский язык совсем не изучают. Стыд и срам слушать унифицированный язык инженеров. А послушайте, как говорят выступающие с трибуны? Русский человек научился говорить по-русски, заштампованность речи всегда на Руси считалась несусветной глупостью оратора, а ныне преподносится как образованность. Где же он нынче, гибкий, красочный, точный – богатейший русский язык?... А коли говорят штампами, то и думают точно так же, и нет у человека воли в мышлении...»

Все это Гудошников предлагал начать немедленно и по всей стране. И зная, какие сокровища лежат у него в темной комнате за семью замками, он ставил условие: как только прозвучит обращение к народу о сдаче исторических памятников письменности и литературы и появится решение о создании библиотек с рукописным фондом для широкого круга читателей, он первый сдаст свое собрание. Все, до единого списка, до последней грамоты. Сам же пойдет работать на выдачу книг...

Но страна в то время боролась с разрухой. Еще многие города наполовину лежали в руинах, а заводские станки работали под открытым небом. Еще действовала карточная система на хлеб, люди ходили разутыми, в лаптях, в чувяках из сыромятины. Государство еще только приступало к восстановлению народного хозяйства, а в международной политике уже веяло «холодной войной» и опускался «железный занавес».

Оставшись один, Гудошников выбросил забытую Ароновым палку и запер дверь. Хватит на сегодня гостей. От одного голова кругом и руки до сих пор подрагивают, нервы совсем ни к черту стали. И чего, спрашивается, вскипел? Куда понесло?... Нет, чтобы с достоинством и честью выпроводить за порог, сказать в глаза все накопившееся в душе против этого человека и выставить. Теперь вот сиди, думай, перебирай в памяти то, что напорол в горячке. Натура еще дурацкая: любую неудачу, неловкость свою сорок раз в уме прокрутишь, сорок раз пожалеешь и покаешься...

Но собраться с мыслями и обдумать все услышанное несколько минут назад Гудошникову не дали. В этот день люди словно сговорились стучать в его двери.

Спустя четверть часа явился сосед Сухоруков, человек мягкий, тихоголосый, словно вечно кем-то обиженный или виноватый. Никита Евсеевич подозревал, что Сухоруков наверняка баптист, – а такие в нижней, деревянной части города водились: больно уж всепрощенческим духом несло от его покорности. Что ни скажешь – все кивает, соглашается, а сам – по глазам видно – себе на уме.

– Что же вы, Никита Евсеич, собачку-то мою, Пушка моего стрелили? – тихо спросил он. – Безвредный кобелек был, на цепи сидел.

– Я в бродячих стрелял, – сказал Гудошников. – Житья от них не стало.

– Так ведь весна, гон у них, – слабо улыбнулся Сухоруков. – Природа требует... Бродячая не бродячая – все одно живые души, жить хотят. Я-то к вам не в претензии: ну раз сорвался с цепи... Только получается больно уж чудно, непонятно мне. Вы человек грамотный, заслуженный, старые книги читаете, а живую тварь не пожалели... Бродячие-то они от чего? Да от нас, людей.

Гудошников сощурился, поджал губы. Что-то уж очень знакомое показалось ему в тоне и голосе соседа. Будто слышал он уже и тихую речь эту, и глаза эти видел... А может быть, он слишком долго живет и много повидал за свою жизнь, потому и люди перед ним словно повторяются, словно по кругу ходят. Ведь давно уже стал замечать за собой, что каждый день, каждое число месяца представляются ему какой-то датой, а вот какой – убейся, не вспомнишь.

– Много ли собаке надо? Бросил ее, прогнал со двора – она и бродячая, – продолжал сосед. – Это человек еще цепляться будет, еще надеяться... За что же бить-то ее? Человека бить надо.

В памяти Никиты Евсеевича встал угрюмый, безлюдный остров на Печоре, пустой скрипучий Северьянов монастырь и стаи бродячих собак-побирушек. И голос Петра Лаврентьева, будто из тьмы: «Зло – оно в самом существе человеческом, во всех делах и помыслах... Собачки, они что, они мертвого грызли, а люди-то живьем друг друга...»

– Много вы знаете о бродячих собаках, – проворчал Гудошников. – Нет на земле бесмысленней твари, чем бродячий пес. Я не встречал... И потомство дают такое же. Если ваша собака подвернулась под пулю – я вам заплачу. Сколько нужно?

– Я не за деньгами пришел, – опять скупно улыбнулся Сухоруков. – Спросить хотел... Интерес у меня такой, – он поднялся, смял шапку. – Интеллигентный человек, пожилой, а... Вот и весь спрос.

В это время у ворот дома остановилась машина – «скорая помощь». Гудошников встретился: что это Степан так рано с работы? (Сына иногда подвозили на «скорой».) Может, случилось что? Однако вместо Степана, без стука, по-хозяйски, на пороге появились двое в белых халатах, один из них держал в руках какую-то темную одежину с длинными рукавами.

– Где у вас больной? – спросил доктор и заглянул в бумажку.

– Здесь нет больных, – пожал плечами Гудошников.

– Кто «скорую» вызывал?

– Мы не вызывали, – отчего-то съежился Сухоруков. – Мы сидим вот, беседуем...

– Гудошников Н.Е. – это кто? – напирал врач «скорой». – Где он? К нему вызывали врача!

– Это вот... они, – замялся Сухоруков, глазами указывая на Никиту Евсеевича. – И дом ихний...

– Ну, я... В чем дело? Мне не нужен врач. – Гудошников шагнул к пришедшим. – У меня есть свой, домашний, сын мой.

– Нас вызвали, – чуть смутился врач «скорой». – Сообщили по телефону... Сказали, вы тут буйствуете...

– Нет-нет, мы беседуем! – вдруг забормотал Сухоруков. – Сидим и мирно беседуем... И никакого буйства не было!

Врач окинул взглядом комнату, заглянул в глубь анфилады, насторожился.

– А ружье почему... стоит? Зачем?

– Я бродячих собак стреляю, – объяснил Гудошников.

– Это хорошее дело! – оживился врач. – К нам сейчас столько людей с укусами поступает. По вашему району собачья развелось, и бешеные есть... Обращаемся в городские службы, просим, а толку нет. Некому говорят, отстреливать. А почему люди-то должны страдать? Особенно дети? Эти ведь твари и детей кусают... А нас дергают: санитарная служба... Вы извините нас. Видно, кто-то злую шутку сыграл. Нам пора.

Сухоруков ушел следом за представителями «скорой», и Гудошников запер двери. «Пусть теперь кто угодно стучит – не открою, пока Степан не придет», – решил Гудошников. Иногда он так запирался, чтобы побыть одному, чтобы подумать и повспоминать всласть, или когда садился за работу над новой, привезенной из скитов и еще не исследованной книгой. Кто-то приходил, стучал, спрашивал, но так, не достучавшись, и уходил, а Никита Евсеевич, осторожно подойдя к окну, смотрел посетителю вслед. Смотрел и думал – а меня дома нет! – и ему в такие минуты казалось, что его и впрямь нет дома.

Он вернулся в свой кабинет, к столу, повесил ружье на стену, так, чтобы его можно было легко снять не вставая, благо гвоздей в стене много, – затем, вспомнив о завтраке, пожевал колбасы, запивая ее остывшим чаем. Не прошло и пятнадцати минут, как в двери опять застучали – осторожно, вкрадчиво, будто собака лапой. Так мог стучаться только Незнанов, коллекционер и любитель старины, один из немногих, кого Никита Евсеевич всегда впускал в дом даже с какой-то радостью. С Незнановым было легко, он много молчал и мало спрашивал: попросит нужную ему книгу, сядет в кресло, и будто его нет здесь. Книг Незнанов не собирал, хотя хорошо был осведомлен в археографии, его болезнью были иконы и старинные изделия, которые могли издавать звуки. Колокола, колокольчики, бубенчики, трещотки, била, дудки, жалейки, свирели, гусли. Никита Евсеевич не понимал подобного собирательства, однако уважал коллекционеров. Как ни говори, что-то ищут, ездят, подбирают и хранят то, что могло быть выброшено и погублено.

Однако сегодня и Незнанову открывать не хотелось. «Меня нет дома», – решил Гудошников и услышал шаги, теперь уже в палисаднике. Незнанов подошел к окну и, сложив ладони лейкой, заглянул в комнату.

– Ты жив, Никита Евсеич? – окликнул он и поскребся в стекло.

– Иди к двери, открою, – пробубнил Гудошников.

– Мы же сейчас в таком возрасте, Никита, что друг за другом присматривать надо, – виновато объяснил Незнанов, когда вошел в прихожую. – Как бы чего не случилось. Сегодня живы – завтра нет...

– Я умирать не собираюсь, – бросил Никита Евсеевич.

– А «скорая» не к тебе ли приезжала?

– Ошиблись адресом...

Гудошников провел гостя в кабинет, усадил в кресло.

– А я к тебе за советом, Никита Евсеич. Очень мне нужен твой совет, – заговорил Незнанов. – Да... Сегодня мы есть – завтра нет... Ко мне тут Оловянишников приезжал, директор-то нынешний, колокольцы мои смотрел. У меня же, считай, без малого полный набор, от двухпудового до такого вот, с ноготок... Продать предложил директор-то, цену назвал. Боязно, говорит, хранить дома такую коллекцию, украсть могут. Я говорю, у меня иголки не украдут. У меня ж там много серебряных, а серебро-то с золотом... Я ж их в сейфе держу. Он, директор-то, и начал: мол, возраст, сегодня живы – завтра нет. А ну как растащут?.. Ну, после смерти... А я продавать не хотел, думал, почую конец – в дар передам, только не музею, а в консерваторию. И что теперь делать – не знаю... Ты со своим собранием как... это... распорядиться хочешь? Ну, потом...

– Я? Я завешание написал, – сказал Гудошников. – Написал и у нотариуса оставил... Только мне о смерти рано думать. Я так, на всякий случай. Возле моего собрания давно ходят-нюхают... Сегодня один прибежал. Хитрая лиса, материалы ему дай... Я тыл себе обеспечил – завешание написал.

– Может, и мне так? – неуверенно спросил Незнанов. – Тыл обеспечить?.. Я б в консерваторию-то хоть сейчас, но, видно, постарел я, постарел, – он тоненько рассмеялся. – Вбил себе в голову: если сдам колокольцы, так и умру вскорости. А мне пожить еще хочется. Я дома-то колокольцы развешаю – у меня жердочка специальная, есть – и ну играть!.. Ты бы хоть раз пришел ко мне, послушал. Музыка-то какая!.. Нынче такой и не услышать. Я б тебе и на жалейке сыграл, и на пастушьей дудке... Я к тебе хожу, а ты – ни ногой.

– Последнее время боюсь что-то из дома выходить, – признался Гудошников. – Уйду на часок – душа не на месте. Вдруг пожар?.. Тоже, видно, старею.

– Значит, не продавать коллекцию?

– Смотри сам... Лучше поиграй еще дома, может, я время выберу, – приду, вместе послушаем. А завешание напиши.

Гудошникову почему-то представилось, как Незнанов сейчас придет домой и станет писать завешание. Будет ходить по комнате, думать, сочинять, портить бумагу и все равно за день не напишет. Потому что, когда пишешь завешание, вспоминается вся жизнь, не хочешь, а вспоминается, и щемит сердце, и звенит в ушах от тишины, и так хочется жить! А Незнанову есть что вспомнить. Иконы он начал собирать до войны, рассказывал, была большая коллекция и несколько досок особенно ценных – мастерской Дионисия, – можно сказать, уникальных. Но во время войны городок, где жил Незнанов, был razорен, коллекция либо сгорела вместе с домом, либо была вывезена, и он, вернувшись с фронта, начал собирать заново, с нуля. И собрал, потратив на это пятнадцать лет и уйму денег, однако все время жалел ту, первую, как, наверное, жалеют матери первое, рано умершее дитя.

Незнанов посидел еще несколько минут молча, поглядел на голые стены, морща лоб и двигая лохматыми, старческими бровями, – видимо, уже начал сочинять завешание – и, попрощавшись, ушел. Гудошникову стало чуть легче, и мысли потекли ровнее. Он отстегнул протез, жмуший культю ноги, и крепко уселся в кресло – думать. Думать и прокручивать в памяти короткий, нелепый и сумбурный разговор с бывшим соратником своим, хранителем отдела Ароновым. Да, с чего же он начал, что он там для затравки брякнул? Ага, про космос! Человек в космосе... Хорошо начал, издалека, так сказать, с философским подходом. А я что ему в ответ? Да ничего, понесло, обида вспомнилась... Надо было осадить его, высмеять эту их программу поиска и сбора. Что толку с нее? Ну привезут они книги, а для кого? Чтобы запереть в отделе? Нет, надо, чтобы люди сами понесли, от души, от сердца. Надо к людям стучаться, к сознанию, и когда они поймут, что без истории, без прошлого нации невозможно думать о будущем, – вот тогда не нужны будут и экспедиции. А то что ж, собрать книги, запереть в сейф и ждать, когда люди сами потянутся к истории? Нет, так мы не дождемся...

На глаза Гудошникову попался белый халат, брошенный или забытый сыном на шкафу, и мысли Никиты Евсеевича тут же переметнулись к Степану. Вот бы сейчас с кем поговорить. Сесть рядом и выложить ему все. Степан – парень толковый, рассудительный, все на лету схватывает. Вот только к книгам нет интереса. Часто берет, листает, что-то читает, но все для того, чтобы отвлечься, переключиться после работы. А благоговения нет, и той самой музыки, которую Незнанов в колокольцах своих нашел, не слышит Степан. Правда, работа у него тяжкая: кровь, страдания человеческие, а то и смерть. Ночь-полночь, поднимают с постели, увозят куда-то... Бывает, и поговорить как следует некогда. Но сегодня-то край как надо, только вот дожждаться бы.

Гудошников решительно встал и, держась за стенку, чтобы не надевать протез, приблизился к двери, завешенной плюшевым ковром с оленями. Погремев ключами, открыл замки...

И разом отошли невеселые и досадные мысли и пропало ощущение времени...

Степан пришел уже в сумерках, и Никита Евсеевич, захваченный врасплох его приходом, долго возился с протезом, пристегивая ремни, потом никак не мог запереть дверь хранилища – путал ключи – и, наконец справившись, заспешил открывать.

– Ты, никак, спал, отец? – удивился Степан. – Минут десять стучусь.

– С книгами сидел, – признался Гудошников. – Бумажки свои перебирал...

– Все ясно, – ворчливо сказал сын. – Опять голодный целый день. Я скоро сиделку найму. Чтобы хоть кормила тебя... Опять подглазья синие. Кто приходил?

– Да были, – уклончиво бросил Никита Евсеевич. – Потом расскажу.

Он специально оттягивал момент начала разговора, чтобы не скомкать его меж других дел, и подавлял в себе жгучее нетерпение.

– Кто приходил, спрашиваешь? – начал он, когда после ужина они уселись возле топящейся плиты. – Аронов приходил, помнишь его?

– Ну как же... Дядя Миша, помню. Что это он вспомнил тебя? Вы же с ним разругались?

– Что вспомнил... Я же ему говорил: придешь еще ко мне, через год-два, но придешь. Он вот через двенадцать явился. Долго я ждал этого часа, – Гудошников расправил бороду. – Материалы по скитам просил, экспедицию затеяли, собрались наконец-то.

– Тебя можно поздравить, – улынулся Степан.

– С чем?.. Они ж все по старинке собираются, натопом. Что было, то и есть, разве что теперь денег дали. – Никита Евсеевич примолк. – Ему сейчас не материалы нужны, не каталоги, что у него есть, а методика поиска и сбора. Ему сначала кержацкий характер надо изучить, с этими стариками и старухами одной жизнью пожить. А там он для этого дела не годится. Я его и тогда-то таскал за собой как пугало... Думал, обтешется, научится – куда там!.. Ему же вынь да положь.

– Значит, не дал, – вздохнул Степан. – А может быть, надо было отдать, а? Пускай бы начинали, методом проб и ошибок.

– Да там нельзя ошибаться! – загорячился Никита Евсеевич. – Раз ошибешься, и всё. Потом уже ничего не возьмешь, хуже того, старообрядцы прятать книги начнут. Они же как цветы: чуть солнце село – свернулись... Пуганые они. Ну, если бы и дал материалы, – поедет Аронов в скиты, что сможет, выскребет, где за деньги, где обманом. Потом туда навек дорожка заказана, близко не подпустят. А книги гулять пойдут. Разошлют по другим местам, и все мои труды рухнули. Сейчас я знаю, где что лежит, а потом вслепую работать придется. У них «почта», знаешь, как работает? В Забайкалье у Федоринова я «Цветник» видел, редкая книга, поморская, а через полгода эта книжица на Васюгане оказалась. Во как! В Макарихе лежит, в дар прислали... А потом, Степа, отдай я материалы, это значит, на моих предложениях крест? Так на кой же ляд я работал всю жизнь?.. Сначала материалы просят, потом собрание... Я тут снова написал в Министерство просвещения.

Степан взглянул на отца, поджал губы. Огонь в печи горел ровно, успокаивал, убаюкивал.

– Они же мне до сих пор не ответили, – продолжал Гудошников после паузы. – Заму-тыскали, наверное, мой проект по инстанциям. Эх, нет Сереги Муханова! Он бы вмиг концы нашел и помог мне. Ты помнишь дядю Сережу Муханова?

– А?.. Да, помню, только плохо, – оживился Степан. – Я же тогда совсем маленький был.

– А теперь кто там, в верхах, остался у меня? Никого не осталось. Самому ехать боязно, весной пожар за пожаром, – Гудошников покосился на печь, обжигая пальцы, проверил, заперта ли дверца. – Да и Аронов тут еще завертелся... Он ведь так просто не отстанет, жук еще тот. Это он «скорую» сегодня вызвал, точно, он.

– «Скорую»? – насторожился сын.

– Да... Я тут пошумел на него, а он, видно, решил, что я с ума сошел, приступ у меня. Вот и вызвал. У меня как раз Сухоруков сидел, по своей собачке вздыхал. Ну они покрутились и уехали.

– Так, а что с соседской собакой? – Степан улыбнулся, отер уставшее лицо.

– По случайности я ее подстрелил, – с удовольствием объяснил Гудошников. – Тут свора бродячих собралась, ну и его кобель выскочил. А я через форточку из малопульки...

– Давай спать, отец, – вздохнул Степан. – Завтра денек будет!.. Ко мне еще восемь человек положили...

– Ну, ты иди, – не сразу согласился Никита Евсеевич. – А я подожду, пока печь протопится, и трубу закрою.

Степан ушел в спальню, а Гудошникову вдруг стало обидно. Разговор с сыном как-то не клеился, не вышел. Хотел сказать что-то важное, значительное, совета у сына спросить, но ничего толком и не сказал. Он открыл дверцу печи, расшевелил кочергой догорающие поленья и, осененный новой мыслью, торопливо захромал к Степану.

– Слышишь, Степан, – заговорил он, склонясь над кроватью сына. – Что я хотел сказать тебе! Ведь без собрания своего, без этих материалов, я для них ничего не значу! Они же меня в порошок сотрут, растопчут. А так – пускай попробуют! И они примут! Примут и мою методику, и мои предложения. Так что эти книги – заложники мои. Иначе я никого не вразумлю! Это же какая глупость несусветная: лезть в скиты натопом, идти на обман! Не будь ракеты, полетел бы человек в космос? Не полетел бы! А тут думают – на дурачка... Какая глупость!

– Ты прав, отец, глупость, – согласился Степан, укладываясь поудобнее. – Ко мне вот тоже еще восемь человек положили, а я завтра в овощехранилище иду, картошку перебирать...

Гудошникову показалось, что сын мгновенно заснул, и, стараясь не стучать протезом, он вернулся на кухню, к печи, караулить, как бы не вывалился уголек и не случился пожар.

В отделе было по-утреннему пусто, сумрачно и дремотно. За барьером, у старинного письменного стола, скрестив на груди жилистые, натруженные руки, сидела Екатерина Ивановна. Краем глаза она следила за аспирантом, который рылся в каталоге, иногда до нее доносились отдаленные голоса из кабинета Аронова. Она мало вникала в то, что происходило в отделе: работа такая – подай, принеси, вымой, проветри, а то, что ей приходилось видеть и слышать, казалось странным, непонятным. Она неплохо разбиралась в делах сельской библиотеки, потому что вся ее жизнь прошла там, и только вот на старости лет, перебравшись к дочери в город и оказавшись в отделе, Екатерина Ивановна с удивлением обнаружила, что в их книжном мире существует еще один мир, особенный и невидимый со стороны. Над тем, что в сельской библиотеке считалось вредным для читателя, ненужным хламом, здесь буквально тряслись. Могла ли она подумать, что ей придется собственными руками выдавать сочинения каких-нибудь монахов, священников, да еще со строжайшим указанием обращаться с книгой, будто с малым дитем? Все книги здесь стояли в застекленных шкафах, а многие даже упакованы в картонные футляры; весной и осенью строго-настроено запрещалось открывать форточки (сыро на улице), зато летом и зимой Аронов иногда просил ее оставить в помещении на ночь таз с водой, чтобы повысить влажность воздуха. Да и люди, что работали в отделе и приходили в читальный зал, тоже были какими-то особенными. То сидят, не разгибая спины, над книгой в полпуда весом, то яростно спорят между собой. И ходят больше все бородатые, бледные какие-то, одень их в рясы, так чистые попы. И запах в отделе больно уж непривычный, не библиотечный: пахнет воском, ладаном. Видно, книги эти так пропитались, так прокурились в церквях, что свой дух и сюда перенесли.

Между тем говор в кабинете Аронова стал чаще, задористей, похоже, заспорили. Хранитель пришел рано и привел директора музея с собой. Все не могут какой-то вопрос решить с книгами. Екатерина Ивановна прислушалась.

– Нет, дорогой Михаил Михайлович, – бубнил Оловянишников. – Все это похоже на авантюру... Я уже раз с вами связался. Я вам деньги на экспедицию дал? Дал. Где же ваша экспедиция? Тут же все вилами на воде писано. А потом, дорогой Михаил Михайлович, что я буду иметь от этого собрания? Вы же его себе приберете, а музею – на тебе боже, что нам негоже.

– Не волнуйтесь, там и для вас много чего, – будто отстреливался хранитель. – Я бывал у него, знаю. Все, что не имеет археографической ценности... – я повторяю: археографической, а не ценности вообще, – возьмете вы. В конце концов, музей – не библиотека.

– Но и не мусорная свалка! – резал директор музея. – В таком случае, давайте заранее обговорим, что конкретно.

– У Гудошникова в собрании нет мусора, – отрубил Аронов. – И вообще, мы делим шкуру неубитого медведя. Сначала нужно спасти коллекцию... Вы обещали проконсультироваться с психиатром, ну, вашим знакомым... Что?

Екатерина Ивановна не дослушала, потому что на пороге отдела появился человек в стеганке и сапогах.

– В грязной обуви нельзя! – предупредила она и заспешила к дверям.

– Мне бы товарища Аронова... – несмело сказал мужчина и отступил назад, глядя на свои сапоги.

– Михал Михалыч занят.

– Но я спешу... Меня ждет машина... Мне на несколько минут. Это очень важно для него, – пришедший глядел открыто, даже как-то виновато и, по мнению Екатерины Ивановны, опасности не представлял. Тем более одет он был как свой брат колхозник...

Она дала ему тапочки и синий халат вместо фуфайки, проводила в кабинет.

И едва он ступил туда, как говор стих, а потом и вовсе прекратился. В отделе снова наступила тишина, и только аспирант в дальнем углу читального зала медленно шуршал карточками каталога...

– Вы напрасно приходили к отцу, – начал Гудошников-младший, когда Аронов понял, кто к нему пришел, и усадил нежданного гостя к краю стола. – Он очень сильно переживает вашу встречу, волнуется, а это ему вредно. Я говорю вам это как врач. Прошу вас больше так не делать.

Хранитель окинул взглядом гостя, вздохнул:

– Я вас понимаю. Но у нас не было другого выхода. Никита Евсеич долго работал среди старообрядцев, у него есть пофамильные списки, списки книг... А мы сейчас разворачиваем программу...

– Знаю, – перебил его Степан. – Но вы поймите: отец болен! Его нельзя волновать. У него развивается паранойя. Этакое болезненное желание переустроить мир, жажда новшества... Тяжелые бредовые переживания.

Аронов и Оловянишников переглянулись.

– Вы это говорите как врач? – спросил хранитель.

– Да... Правда, я не психиатр... но у него все признаки, – Степан задумался, перевел дух. – Его слишком долго не понимали, а он боролся всю жизнь. Это уже, так сказать, результат его переживаний. Последнее время сидит, сочиняет какой-то сказ о судьбе письменности и литературы на Руси... Днем пишет, а по ночам читает мне. Он немного успокоился за этой работой, в себя пришел.

– Мемуары? – спросил Оловянишников с интересом. – Знаете, я ведь тоже балуюсь... На работе за день накрутишься, а вечером этак сядешь, задумаешься, вспомнишь жизнь свою, и такое освобождение наступает...

Он вдруг осекся и смущенно улыбнулся.

– Я дышать на него боюсь, – продолжал Степан, выждав паузу. – Пускай пишет, только чтобы обострений не было... Кстати, Михаил Михайлович, вы знаете что-нибудь о рукописи

старца Дивея?.. Ну, будто написана она еще до крещения Руси каким-то неведомым письмом? Или это тоже... вымысел отца?

Аронов грустно усмехнулся, посерьезнел.

– Не знаю... Никита Евсеич что-то такое мне рассказывал... Как в гражданскую войну искать ее ездил... Да и будто находил ее, но то ли потерял, то ли украли... Он все хотел доказать, что письменность на Руси возникла на несколько веков раньше прихода Кирилла и Мефодия. А это недоказуемо!

– Отец всегда с таким жаром мне рассказывал об этой рукописи, – проговорил Гудошников-младший, – с детства помню...

– Нет-нет, Степан Никитич, это недоказуемо, – встряхнулся Аронов. – Не знаю, чья это выдумка, но о такой рукописи в источниках упоминания нет. И о старце таком не упоминается... Он всегда был чудаковатый – Никита Евсеич.

– Значит, и это бред, – вздохнул Степан. – А я все-таки надеялся... Спросить не у кого было, чтобы проверить...

– Да, скорее всего большое воображение, – попытожил хранитель. – Собиратели, они все чудаки. Я с ними, слава богу, встречался.

– Все равно, пускай пишет, – задумчиво произнес Гудошников-младший. – Ему сейчас не надо мешать.

– Он где-нибудь состоит на учете? – осторожно спросил директор музея. – Ну, как этот... как душевнобольной?

– Нет, зачем же, – возмутился Гудошников-младший. – Отец под моим наблюдением, этого достаточно. Отца знает слишком много людей... – он замаялся. – Не хотелось бы, чтобы о нем помнили, как... Это наша семейная тайна, если хотите. А вам я рассказываю только для того, чтобы вы знали правду и оставили отца в покое. Я чувствую, вы от него не отстанете с этими материалами. Так что я вас предупреждаю. Вы поймите, я вынужден! Мой отец – герой гражданской войны, известный археограф, в конце концов, инвалид... Имеет право он хоть сейчас пожить спокойно?

Аронов вдруг стал задыхаться, боль сдавила грудь, стиснула сердце. Он машинально опустил руку в карман, где всегда лежал ингалятор, но тут же вспомнил, что с утра надел другой пиджак. Хранитель постарался расслабиться, сделав губы трубочкой, потянул воздух.

– А у вас одышка? Астма? – насторожился Гудошников-младший.

Аронов покивал, багровея и прикрывая выходящие из орбит глаза.

– Старайтесь дышать носом, – посоветовал Степан и, ловко расстегнув рубашку на его груди, начал массировать кожу возле ключиц. – Вдох – медленный выдох... Ну, ну давайте!

Аронов дышал с хрипом, руки тряслись, немели губы. Через минуту приступ кончился, и сразу навалилась слабость, усталость. Перепугавшийся Оловянишников брякал графином, наливая воду в стакан. Аронов утер платком лоб, лицо, откинулся в кресле.

– Воды не нужно, – сказал Степан, и Оловянишников торопливо убрал графин. – Вода может вызвать новый приступ... Где вы лечитесь, Михаил Михайлович?

– В своей... поликлинике, – выдохнул Аронов. – Говорят, бесполезно... консультировался... На нервной почве астма, говорят...

– Вы придите ко мне. – Гудошников-младший поискал глазами умывальник – привычка врачей, – но не найдя, встряхнул руки и сел на место. – Только не домой, а в больницу. Я вам подберу травы.

– Спасибо, – бросил хранитель, приходя в себя. – Последнее время что-то особенно часто... Эх, раньше, бывало, я с вашим отцом в день по сорок километров ходил, и ничего... Да, постранствовали мы с Никитой Евсеичем... Он на березовой ноге, а угнаться за ним – ого! Кто бы мог подумать, что такими вот станем? А травы? Что травы! Давали мне, пил...

– Я вам особенной травы дам, по старому рецепту, – заверил Степан. – И не пить, а ингаляцию делать. Я у отца в библиотеке нашел уникальную вещь – травник. Отец говорит, шестнадцатого века... Я начал заниматься народной медициной, и результаты уже есть. А в этом травнике – рецепты от всех болезней, наивные, безусловно, – он улыбнулся, – но полезного очень много. Тем более сейчас все забыто, надо проверять, ставить эксперименты... Приходите, от астмы у меня уже кое-что есть.

Хранитель выпрямился, взялся рукой за горло, будто у него начинался новый приступ, однако тихо, без напряжения спросил:

– Значит... вы бываете у отца в библиотеке?

Степан пожал плечами, дескать, ну а как же? Это еще больше вдохновило Аронова. Он встал с кресла и прошелся по кабинету. Интуитивно возникшая у него мысль, едва Гудошников-младший перешагнул порог, теперь снова шевельнулась в мозгу.

– Я, кажется, понимаю, – опередил вопрос Степан. – У вас из-за этих материалов срывается экспедиция.

– Да! Да! С материалами мы могли бы на несколько лет приблизить тот час, о котором мечтал Никита Евсеич! – горячо заговорил Аронов. – На разведочные экспедиции нам нужно года три, не меньше, а имея материалы, мы могли бы начать сбор книг немедленно. Вы поймите, Степан Никитич, пропадают бесценные книги. И будь ваш отец в здравом уме – он бы дал, я не сомневаюсь. Но...

– Я в принципе могу вам помочь, – задумчиво проговорил Степан. – Мне это нетрудно.

– Только вы поймите одно. – Хранитель остановился напротив Гудошникова-младшего. – Это нужно не Аронову лично, и не ему вон, директору музея. Это нужно всем нам, государству.

– Не надо меня агитировать, – улыбнулся Степан. – Не забывайте, что я сын археографа и с молодых ногтей знаю, что есть древняя книга... Материалы я вам принесу. Только, ради бога, вы сами без моего ведома не появляйтесь в нашем доме. И своих сотрудников больше не присылайте.

Гудошников-младший встал и вдруг заторопился:

– Простите, меня машина ждет, на овощехранилище едем... Я вам позвоню на этой неделе.

– И вас тоже гоняют картошку перебирать? – улыбнулся, прощаясь, Аронов. – Мы по графику в четверг едем... А в среду обязательно позвоните!

– А мы – в субботу! – чему-то обрадовался директор музея. – План – по тонне на сотрудника. Выходит, все повязаны...

Екатерина Ивановна сняла с посетителя тапочки, халат и, проводив молодого человека за двери, села на прежнее место – за барьер. В кабинете хранителя вновь заговорили громко и отрывисто.

– Где же Анна? – спрашивал Аронов, и Екатерина Ивановна слышала, как скрипит паркет под его ногами. – Где ее сегодня носит? В конце концов, кто едет в экспедицию: я или она? А где ваш сотрудник, товарищ музейщик? Договаривались утром собраться здесь!

Оловянишников то ли не отвечал, то ли говорил очень тихо. Между тем хранитель продолжал:

– А Степан каков молодец, а? Приятная неожиданность. Я его мальчишкой помню, худенький был, бледный такой... Мать у них в блокаду погибла, в Ленинграде, а Степана эвакуировали.

– Что-то мне не нравится все это, – вдруг сказал Оловянишников.

Екатерина Ивановна насторожилась: аспирант возле каталога что-то торопливо прятал в карман. Она привстала, выглядывая из-за барьера и щури близорукие глаза. Нет,

все в порядке, платок прячет, нос вытирал. Сыро на улице, а народ, что эти книги читает, хилый, то кашляет, то чихает, а то, как хранитель, задыхается.

– Все это на кражу походит, – слушала Екатерина Ивановна. – Хоть сын у отца, но все равно кража... Когда я работал директором филармонии, был у нас случай, концертные афиши пропали...

– Сейчас меня не интересует, что у вас там пропадало, – отрезал Аронов. – А вот если пропадут материалы и книги – с нас спросят наши потомки. Вы говорите так, словно прокурором работали: кража, авантюра...

Екатерина Ивановна не дослушала, чем закончился спор. Снимая на ходу плащ, в отдел вбежала Анна. «Господи, сами-то вы хоть к черту на рога полезайте, – думала Екатерина Ивановна, выдавая Анне халат и тапочки, – а девку-то зачем с собой тянете? Кражи, авантюры... А она девчонка совсем, ей бы не над этими черными книгами сидеть, а в клуб бегать да с парнями гулять...»

Екатерине Ивановне всегда казалось, что читать такие старые, написанные малопонятным языком книги должны люди степенные, пожилые, которым уже ничего в этой жизни не в диковинку...

Кануны и каноны

Сумерками тягостней стало Дивею. Выйдет на крыльцо, оглядит Подол – ни огонька в окнах, и в посадке мрак, только зарево слюдою в глазах играет. Вроде тихо кругом, лишь собаки брешут, а тревога берет, словно налетели печенег да обложили Киев, чтоб с зарею на приступ идти. Но нет степняков у городских стен, с лета не слышать о набегах. Разве что по украинам зорят веси малыми силами, попугивают смердов да холопов.

Неспокойно Дивею. Куда ни глянет – пуст город, черен и незряч, ровно слепой. Только на холме, в тереме великого князя Владимира Святославлича, огонек брезжит, скупой да тревожный, будто в бане, когда упыри¹ моются. И в небе чисто – каждая звездочка на ладонь просится, но с тьмою поднялась над Подолом туча нетопырей². Так и мельтешат перед глазами, роятся, а иная с разлета вцепится в белую Дивееву бороду, распластает крыла и скрежещет коготками по кожаному аламу³. А Дивей ровно закаменел, мочи нет руку поднять и сбросить с груди тварь мерзкую. Все на княжеский терем глядит. Вдруг да распахнутся ворота, выскочит гонец на белой лошади, чтобы кликнуть старца к Владимиру. Гонцы-то скачут, да все мимо Дивеевой хоромины. Неужель так и не призовет великий князь Дивея, чтоб поведать ему о походе на Корсунь-город⁴.

Семь ден минуло, как возвратился Владимир с дружиной. Уж и пешие ополченцы подходят, повозки с добычей под стенами скрипят, а князь из терема не выходит, к себе не зовет. Бывало, из всех походов Владимир поутру в город входил. Коли застанет его вечер недалеко от Киева – лагерем встанет и ночь переждет, хотя бояре да простолюдины так и плещутся по улицам, виснут на стенах, великого князя дожидаячи. Ныне же Владимир с тьмою в город вступил, ровно тать⁵ либо беглый с баралища⁶. Семь ден минуло, а он Перуну-богу требы не клал и с дружиной своей не пировал всласть. Немое било⁷ у княжеских ворот лишь ветер качает...

Иль не нужны больше летописцы и песенники земле Русской?

Так бы и тащился Дивей в своих думах, но прибежали тут волхвы⁸ Десятко и Жмура да весть поведали. Будто великий князь отринул Перуна-бога и в Корсунь христианскую веру принял. И будто теперь всю землю Русскую крестить станет...

– Остереги великого князя! – закричали волхвы. – Он послушает тебя. Окружили, окрутили его греки-попы, на уши шепчут речи медовые, сулят горы золотые, абы только веру христианскую принял. Владимир-то Святославлич и шагу без них ступить опасается, и слово вымолвить. А примет Русь христианство, не князи – попы нами править станут, и уйдет Русская земля в полон иноземцам, в рабство уйдем, которого на Руси знать не знали, видеть не видели...

Не потому ли великий князь глаз не кажет и к себе не зовет?

Вернется старец в хоромы, присядет к столу и снова замрет. Только сухие желтые пальцы чуть шевелятся, щупают чистые харатьи. Треснет огонь свечи – вздрогнет Дивей, окинет гла-

¹ Упыри – нечистая сила.

² Нетопырь – летучая мышь.

³ Алам – нагрудник.

⁴ Корсунь – Херсонес.

⁵ Тать – вор, разбойник.

⁶ Баралище – битва, сражение.

⁷ Било – сосновая доска, в которую били, созывая народ.

⁸ Волхвы – языческие жрецы.

зами стены, перо лебединое в руку возьмет, да так и повиснет рука над горшочком с чернилами. А мысли что нетопыри, носятся безмолвной тучей, липнут, царапают...

Перед тем как Корсунь воевать, Владимир Святославлич к старцу наведалься. Ночь стояла не краше нынешней – темная да тревожная. Один в хоромы вошел, доверенного своего боярина за порогом оставил.

– Ладно ли живешь, дедушко? – спросил. – Может, в терем мой пойдешь? Велю светлицу тебе отдать в покоях моих и смердов в услужение.

– Стар я, аже бы в покоях твоих жить, – отвечал Дивей. – Больно высоко твои покои, княже, земли не достать.

– Коли в харатях нужда есть – велю купцам за море плыть...

– И в харатях⁹ нужды нет.

Опустил великий князь голову, спину ссутулил.

– Слово мне твое надобно, Дивей, утешенья ищу. Тяжко на сердце, дедушко, думы голову обложили – зверем бугати¹⁰ хочется... То чудится, пропадет земля Русская, и страх сердце грызет, а то – безбурие над Русью и земля басенная¹¹, лише я аки бездомок на ней...

– Полно, княже! – успокоил Дивей. – Клади требы Перуну-богу да веи дружину свою на Корсунь. А кручина твоя в поле развеется, аки персть¹² на землю падет.

– Брат мой, Ярополк, во сне снится, – глухо промолвил Владимир. – Токмо очи закрою – десницу ко мне тянет и рещет¹³: здравствуй, брат.

Вскинул голову Дивей, оглядел великого князя, но сдержался от упрёка. Помнил старец деда Владимира, Игоря Рюриковича, и отца его, Святослава, помнил. Многие лета писал Дивей о славных походах княжеских, о битвах с печенегам да хазарами, о горе лютот и о радости великой песни слагал и тешил потом князей киевских. И всегда был в купномыслии с великими князьями, ибо не след летописцу делам их мешать, и с братоубивцем Владимиром ладил, перечить ему не хотел, даже если пылало во гневе сердце Дивеево.

– Отведи и развеи думы и страсти мои, дедушко, – попросил Владимир. – Ты же беседливый, твое слово аки бальство¹⁴, аки мовь¹⁵ после брани. Пока на Корсунь-город с дружиной хожу, сложи мне песень, аже бы милосердие ко мне пробудило и мудрость великую. Славу я мечом добуду, а мудрость токмо от слова твоего, Дивей...

Сложил Дивей песнь для Владимира Святославлича, записал на пергаменте и спрятал в ларец. Теперь бы время побаловать княжеский ум и сердце, да не кличут старца к великому князю. Верно, в крещении нашел Владимир бальство от недугов своих...

К полуночи не стерпел Дивей. Новые чоботы надел, волосы гребешком расчесал, чистой тесьмою повязал и кликнул Улыбу – ученика своего, сына холопного. Не отозвался унот¹⁶, видно, заснул крепко. Заглянул Дивей в чулан, где спал Улыба, пошарил на постели – нет его! Похолодело сердце: в этакую тревожную ночь ушел и не спросился даже. Сгинет отрок, и совсем один останется Дивей... Улыба с малолетства жил со старцем, полюбился ему как сын и в письме проворный был. Дивей собирался перед великим князем хлопотать, чтобы ученика вольным человеком сделать. Кинулся старец на крыльцо, а навстречу опять волхвы.

– Ведаем мы! – закричали. – Аже с зарею крещение будет! Лише сейчас прознали! У великого князя с вечера попы греческие да болгарские толкуются, судят, рядят, аки землю

⁹ Х а р а т ь и – листы пергаменты, переплетенные в книгу, в данном случае – страницы.

¹⁰ Б у г а т и – реветь.

¹¹ Б а с н е н н а я – прекрасная, хорошая.

¹² П е р с т ь – пыль.

¹³ Р е щ е т – говорит.

¹⁴ Б а л ь с т в о – лекарство.

¹⁵ М о в ь – баня.

¹⁶ У н о т – юноша.

Русскую крестить! Утром указ княжеский будет, аже бы все бояре, челядь, холопы и прочие людишки выходили на берег Днепра принимать крещение! А кто уклониться посмеет – силою поволокут!

Дивей – то хоть и не боярин и не смерд, не холоп и не изгой и приказы княжеские ему некасаемы, а еще пуще затревожился он. Вольному-то человеку, каких мало на Руси есть, всегда больней от приказов княжеских.

– Не вразумишь ты теперь великого князя! – наседают волхвы. – Мы тебя чуть на смерть к нему не послали, не чаяли уж и застать, думали, в тереме ты... А коли живой – собирай-ка, Дивей, борошень¹⁷ свою, мы тебя в черные леса повезем да спрячем в таилище. Ибо с зарею не князь, так попы тебя мучить станут, а требища¹⁸ жечь. Уж нынче ночью костры в Киеве разгораются, дружинники да бояре сами идолов рубят, хараты с письмом жгут и людишкам своим велят!

Вздрогнул Дивей. Да что же это Владимир, в уме ли он? Давно есть на Руси христианская вера, а требища никто зорить не смел, идолов рубить не покушался. На Корсунь дружину уводил и сам требы клал. Вернулся с чужим богом и своего – рубить? Экий бог христианский, один хочет над людьми сидеть, других в огонь сажает. Верно волхвы беду от него пророчили. Глянул старец на терем княжеский – во дворе огонь полыхает, люди вокруг снуют... Спихватился, достал заветный ларец с харатями, запеленал в холстину, волхвам отдал.

– Тута вся моя борошень, – сказал. – А сам я ко князю пойду.

– Не ходи! – закричали волхвы. – Погубит тебя Владимир, раз попов токмо слушает. А попы наустят его – погубит!

– Не посмеет на старца руку поднять, – заверил Дивей. – Я ж его во младенчестве пестовал, всем мудростям земным учил.

Чуть скрылись во тьме волхвы, перед очами Дивея Улыба встал, сияет весь, на голове – шелом харалужный¹⁹.

– Эко вырядился! – рассердился старец. – Ровно потешник княжеский.

– Ополчение под стенами уж, дедушко! – ликовал Улыба. – С богатой добычей идет. А народ-то и не ведает!

– На заре Владимир Русскую землю крестить станет, – сказал Дивей. – Надобно его остеречь. Чужое оно для Руси вольной – христианство. А ты же в хоромину ступай и меня дождись. Я ко князю пойду.

– Дедушко! – закричал Улыба. – Отпусти ты меня с учения! Замолви слово перед великим князем! Воевати хочу, во снах баралище видится! Не опозорю славы княжеской! Пускай он в дружину меня возьмет. Лише ты не гневайся, дедушко!

– Ты в учении для иного дела, – осердился Дивей. – Письму тебе надобно учиться и песни слагать. Сиди-ко в хоромине, витязь беспутный.

– Не хочу я хартоларем²⁰! Воином быть мне!

Поглядел Дивей на отрока безмудрого, насупился. Жалко Улыбу, но воя из него впрямь бы добрый вышел. Могучим вырос сын холопий, удаль в нем будто пиво бродит. Как-то раз ходили с ним по лесу и на борть²¹ наткнулись. А медведюшка – то ее раньше почуял, кружит, орет, пугает. Не уступил борги Улыба. Гикнул, свистнул – и с топориком к медведю.

¹⁷ Б о р о ш е н ь – имущество, вещи.

¹⁸ Т р е б и щ е – место поклонения языческим богам.

¹⁹ Х а р а л у ж н ы й – стальной.

²⁰ Х а р т о л а р ь – хранитель рукописей.

²¹ Б о р т ь – гнездо диких пчел.

Пока Дивей-то дубье ломал, унот ловконько так космача и срубил. Отпустить бы его, да жалко: в письме лепый²² и млад еще, не ведает, где ему быть должно.

А не отпустить ли Улыбу и в самом деле? Видно, не нужны нынче песни, а значит, и песенники не нужны...

Склонил Дивей голову, сказал что отрезал:

– Нет тебе пути в дружину.

Улыба снял с головы шелом, повертел в руках и на кол надел.

– Коли не вернусь – к волхвам ступай, – смягчившись, добавил старец. – Я песню свою у них схоронил...

– Дедушко!

Взял Дивей посох и пошел в гору, к терему князя великого, где пылал нынче большой огонь.

– Дедушко! Что же с песней мне делать?.. Дедушко?!

Шел Дивей к великому князю с головой темною, ровно сумерки над Подолом. Не сутулый, не горбатый, а клонилась к земле голова.

Зазнобило той ночью великого князя киевского. Глянет из оконца – костры горят, дружинники его, крещенные, возле стоят, от жара прикрываются, а Владимиру Святославличу холодно. Отхлебнет он меда хмельного – не берет хмель, лишь пуще знобит. И смаку в меде нету, горечь одна. Огляделся князь, а в светлице пусто. Разбежались попы да бояре, и только грек Михаил все еще на лавке сидит, в глаза ему смотрит.

– Ну-ка, поп, подай мне шубейку!

Михаил не шевельнулся, губы поджал и глядит черно.

– Подай, поп! – Ахнул кулаком по дубовой столешнице, ковш с медом расплескался, качнулось пламя свечей и тени на стенах.

– Охолонись, безбожник, – урезал Михаил, – не стучи, я не раб тебе. Я твой духовный наставник и отец святой.

Доверенный боярин в светлице оказался, накинуд князю на плечи соболью шубейку, затем нагреб с полу беремя шитых золотом княжеских рубах и во двор понес, огню. Опустились плечи Владимира Святославлича, руки обвисли.

– Тяжко мне, тяжело, – простонал он. – Поговори со мной, поп, ежели ты – отец святой.

– С Богом говори, княже, да не пей больше, – смягчился поп. – Встань на колени перед иконой, помолись до зари, ослобони душу.

Повел тяжелым взглядом князь, встретился с ликом Божиим и потянулся к нему скрюченными перстами. Потащи́лась и спáла шуба с княжеских плеч, ровно шкура змеиная. Опустился Владимир на колена, замахал рукой, как учен был.

– Молись, княже, аки схимник молись... И пошлет тебе Господь утешение, и силу даст великую, и мудрость, абы с зарею святое дело вершить... А борошень свою не жале́й Нынче же все поганое, языческим знаком меченое, из терема своего вынеси да огню отдай.

Подошел поп Михаил к окованному сундуку, что в красном углу светлицы стоял, откинул крышку, перекрестился, брезгливо морщась, вынул несколько пергаментных свитков, на пол бросил.

– Сие письмо поганое, языческое – в огонь! – И плюнул на свитки, ногой растоптал.

– Чем же письмо-то поганое? – вскинулся великий князь. – Писано там Слово о земле Русской, о князьях да походах их славных, дабы знали потомки, откуда есть Русь. Отцом моим хранить наказано.

²² Л е п ы й – хороший.

– Нынче слово Божье хранить надобно, – сурово произнес поп. – Ибо христианин ты теперь, и вера твоя чистейшая, святая. Молись, княже!

Доверенный боярин в светлицу вошел, собрал остатки одежды и, наткнувшись на разбросанные харатьи, глянул на князя.

– В огонь... – вымолвил Владимир и осенил себя широким, неумелым крестом.

Боярин сгреб свитки, сложил на руке, словно поленья, и снова во двор – огню.

– Молись, княже, молись, – проронил поп Михаил, направляясь к двери. – И просветлеет душа твоя, и усладится сердце твое, и обретешь ты покой, коего жаждал многие лета.

Притворил за собой дверь Михаил-поп, молится князь в одиночестве, шепчет слова иноземные, а спину-то озноб дерет. Глядел-глядел он в святой лик и узрел, будто кривоват Бог на один глаз. Чудно Владимиру сделалось, встал он с колен и к иконе. Нет, вроде прямо смотрит нарисованный Христос в очи князю. Хоть бы моргнул, а то, как рыба, пучит строгие глаза. В одну сторону пойдет Владимир, в другую попятится, а Бог-то все с него очей не сводит. Князю еще чудней! Давай он по светелке кружить. Куда ни пойдет – всюду Божий глаз следом.

Зашел в светлицу доверенный боярин, остановился на пороге, глядит, аж рот раскрыл.

– Смотри-ко, – зовет его князь. – Диво какое!

Боярин тоже покружил у святого лика, затылок почесал и интерес потерял. Князь же, ровно дитя малое, из-под стола смотрит, на лавку ляжет – заглянет. Потешно!

– Чудной бог! – воскликнул Владимир. – Ишь как глазищи пялит! Куда ни спрячешься – все видит!

– Старец Дивей к тебе пожаловал, княже, – сообщил боярин. – Тута ждет... Кликнуть али прогнать?

– Дивей? – вмиг забыл великий князь о забаве. – Где же он? Кличь!

Едва Дивей на пороге очутился, бросился к нему Владимир, обнял, облобызал, за стол усадил. Сам же толкнул ногою дверь, велел тащить меду хмельного да поросятины жареной.

– Пить с тобой будем, Дивеюшко!

Ковш Дивею до краев наполнил, подал – поклонился в пояс. А глаза-то горят, то ль от радости, то ль лихорадка изнутри палит. Осушил Владимир свой ковш, крикнул, будто хазарину голову срубил.

– Мне поп-то сказывал – молись, а я пить буду!

Пригубил Дивей меду, огладил бороду и воззрился на князя.

– Али невольник ты, княже, коли в покоях своих греку-попу покоряешься?

Сверкнул очами князь, потемнел лицом, но отшутился:

– Вольный я, дедушко, егда с дружиною во чистом поле.

– Ладно ли на Корсунь ходил?

Оживился Владимир и поведал Дивею, как на приступ ходили дружинники его славные и полки доблестные, как били смертно супостата и победу одержали. Теперь станет Корсунь-город дань платить ему, князю киевскому. С каждым годом прирастает земля Русская и будет скоро могучее и больше всех земель.

Дивей не утаил, что ведомо ему о крещении великого князя, и говорит:

– А наказ твой, княже, я исполнил. Вели нести гусли звончатые.

Разошелся великий князь, о походе сказывая, опрокинул ковш меда, утерся рукавом.

– Ну-ка, боярин! – кричит. – Неси гусельки!

Боярин явился с гуслиями, положил их на колени старцу, а сам на конец лавки сел, привалился к стене – слушать приготовился.

Дивея же перебирает струны перстами, гладит, обласкивает их, но песнь не начинает. Глядит вокруг, бродит очами по светлице, ровно с мыслями собирается. Ничего не укрылось от взгляда Дивеева: харатьи на полу сапогами топтаны, бог христианский на доске мазаный, в переднем углу – чужеземная книга, ровно камень, черна, горбата...

– Пой песнь свою, Дивеюшко! – взмолился князь. – Больми²³ алчный я ко слову твоему!

Тут на пороге грек Михаил очутился. Неслышно отворил дверь и на князя зрит, глаза угольями горят. Но молчит поп, будто тоже Дивееву песнь слушать пришел. Взметнулся, встрепенулся великий князь, заходили желваки по скулам, а очи сами к иконе обернулись, сшиблись с Божьими очами, точно тьма воинов в диком поле. Все зрит Божье мазаное око, не скропясь...

Осел великий князь, словно богатырский конь перед пропастью, опустил плечи.

– Крестился я, Дивей, и веру новую принял, христианскую, православную. Отныне песни твои – поганые... А святы лишь молитвы Христу-спасителю!

Поп Михаил так же неслышно двери притворил и исчез из светлицы. Дивей же ровно не слышал Владимира. Трогает струны перстами, и звучат они, как быльник степной под ветром. Подобрел Божий лик в углу от слов княжеских, а Владимир-то вдохновился, рубаху на груди распустил, плечи расправил и пошел по светлице.

– Веру-то принял, а в бога христианского поверил ли? – наигрывает себе Дивей. – От веры сердце пылать должно, а тебя лихорадит, трясет. Дрожишь, аки лист осиновый... Егда на Корсунь собирался, не ты ли Перуну-богу требы клал да клялся оружием своим? А верил ли ты?

Нахмурился великий князь, будто столб, стоймя стоит. Дивей же бьет его словом, ровно палицею, а из струн гусельных звонкие стрелы пускает.

– Мечешься ты, княже, аки зверь в клетке. Паки юным метался ты и богам поклонялся без веры. Нет в тебе бога, ни Перуна русского, ни нового, христианского. Знал ты едину богиню, да не Мокошь, а Рогнеду-княжну. Силою имал ее, и чаял я – навечно ты веру обрел. Да силою веру не обрящешь, и отринул ты Рогнеду, аки сейчас богов своих. И другую имал, и третью... Аль с верою брал, аль без веры?.. Молчи, княже, слушай песнь мою, слушай!.. Ужели не ты, Владимир Святославлич, аки на польские города собирался, вынес из терема своего идолов, да утвердил их на холме, идеже оные и поныне стоят? Веру ль ты утверждал на Руси, али себя в великом княжении? Ужель не ты послал Добрыню в Новгород, дабы то же учинить?.. Слушай, княже, слушай!.. Выгоду ль ты для себя ищешь? Для Руси ль блага? Для бояр своих и людишек? Да что за вера тогда, коли в ней токмо выгода одна?

Затрясся телом князь, задышал, ровно конь запаленный.

– Пошел, боярин! – кричит доверенному.

Вытолкал его, дверь притворил да и рухнул старцу в ноги. А гусельный звон в светлице уже будто море плещется: набежит крутая волна – и откатится...

– Пощади, Дивеюшка! Сам сказывать стану! Тяжко мне, ох, тяжело! Душа слова просит, утешения. Ровно бремя каменное на сердце ношу. Нету веры-то во мне! Нету! Ищу – обрести не могу! В княжне, в Рогнеде, не было! А вознес я на холм Перуна-бога и других богов, – ан нет во мне их! И поведаю тебе, дедушко, тайну великую: пока я с дружиною в походе, мне и бога не надобно. А как вернусь в Киев, в терем свой – тоскует мое сердце, бога ищу! Кому-то надобно требы класть али на коленях стоять да десницею махать, да звать кого-то сильного, кто сильнее меня, дружины моей и могутней Руси! А лише выеду в дикое поле – вольно мне! И богов не надобно!.. Оттого мне не сиделось в Киеве. Воевал я города польские, и вятичей покорил, и ятвягов, и радимичей, и болгарию камскую покорил! Уж и кровушки пролил – реки текли!.. Чудится – нету меня сильнее! Сам я – бог! Я в существе своем покровитель и творитель всея живота людского!.. Привел я дружину с полками под Корсунь-город, а сила в нем великая, острог вельми крепкий да высокий. Велел я капище ставить да требы класть, ибо желание страстное почуял богу поклониться, почуял – человеке я, слабый человеке. Ослаб, и думы мои робкие, и бордунь²⁴ в деснице ровно камень тяжела и мню я бежать безочно...

²³ Б о л ь м и – крепко, сильно.

²⁴ Б о р д у н ь – сабля.

Рыщет очами великий князь по лику Дивееву, а в гортани-то так и клокочет слово, так и рвется из уст, будто вода с гор. Разгулялись по струнам персты Дивеевы, уж не волны морские гудят, а пороги днепровские.

– Михаил-то, поп, рещет: не ставь требища, отринь идолище поганое. Я молить своего Бога стану, Христа-спасителя светлейшего, и Корсунь-город покорится тебе. А тут бабка моя, Ольга, во сне привиделась. Прими, сказывает, веру христианскую сам, и всю землю Русскую крести. И будет слава тебе во веки веков! Надобно мне дружину на приступ вести, я же ослаб, и страхи думами овладели... Поп-то шепчет: прими новую веру, прими, в ней успокоение тебе, и сила твоя – в ней...

Смолк великий князь, уставился в одну точку и коленями переступил. И гусли Дивей чуть примолкли. Снова зашелестел быльник под ветром, птичий крик почудился.

– Пред тем аки Корсунь воевать, отай²⁵ с посланником хорезмского шаха виделся я, – признался князь. – Хотел землю Русскую в законах ислама наставить. А поглядел я на веру ихнюю – тошно мне стало. Больно тяжкая вера у них; мужчины плоть на обрезание дают, и бабы у них закрытые ходят. Меду-пива не попей, поросенка ясти не велено, и молятся они – русскому люду терпенья не хватит... Да не успокоился я, дедушке, вздумал католическую веру поглядеть. И та не поглянулась. Вельми кровавая вера! Я с дружиною ворогов бил, а у них всякого бьют, кто другой веры. А иудейская вера тольми вовсе русскому люду негожа. Токмо православие и остается для Руси... Загадал я: покорю Корсунь – крещение приму! Аже бы метания свои одолеть – великое дело сотворю, бабкой моей, Ольгой, наказанное, – землю Русскую окрещу! И отворится мне дверь к другим народам и благам великим для Руси!

Распрямылся князь, глотнул сухим, горячим горлом. Колотить перестало, лишь тело подрагивало редко, как у дитяти, которое долго плакало и наплакалось. Оттептели персты Дивеевы, заговорили гусельки, ровно ручеек по камешкам побежал.

– Экий ты чудной, княже! Вскую²⁶ вздумал ты бога русскому люду искать! Точно Улыба – мой унот несмышленный, дело себе ищешь, сам же не ведаешь, что хочешь. Ты бы, княже, для себя веру искал, для своего сердца покой. А вера есть на земле Русской, и бог у нее есть – изначальный всего рода людского. Не в силе да удали своей искать его надобно, не в чужих землях, не у народов тех земель. В сердце своем да в природе. На зорьке в солнышке ясном, в цветочке лазоревом, во крике детском, когда чадо из утробы материнской на свет является. Что в душе твоей, княже, отзовется, что благостью и животом полнить сердце твое будет, – там и бог твой, и вера.

– Поганая сия вера, языческая...

– Отец твой, Святослав, с этой верою жил и не метался, аки ты, сын его, – молвил Дивей. – Елико бабка твоя, Ольга, не увещевала Святослава принять христианство – не принял. Но принявшим препятствий не чинил. Вещий был отче твой. У каждого человека свой бог в сердце. Русскому люду какую хочешь веру дай, хоть в воду его макай, хоть плоть обрежь – все одно он своему богу будет молиться, тому, что в сердце его. Тем и не похожи мы на другие народы, а потому и вера чужая в сердце не отзовется.

Великий князь голову поднял, плечи расправил, а длани-то все еще будто плети висят.

– Тако и сгинет Русь, точно песок под ветром. Негожа такая вера, Дивей, вельми крепкую надобно, аки камень. Аже бы мощно стояла земля Русская.

– Тяжел камень-то, княже, – звенели гусли. – Тяжко люду от него. Да и камень в песок оборачивается, в персть... Ты, Владимир Святославлич, принял православие и страдаешь теперь. А люд русский в тридевять страдать будет.

²⁵ О т а й – тайно.

²⁶ В с к ю – почему, зачем.

Хлебнул меду великий князь, оросил гортань, огляделся. Просветлели очи княжеские, ровно выплакал он перед старцем темную пелену с них, прозрел в одночасье. Но похолодели те очи, застыли, как у малеванного Христа на иконе.

– Люд-то русский волюшку любит, – вещали струны под перстами старца, – оттого и хорошо тебе, княже, когда ты в поле скачешь с дружиною. Отними-ка волю – и нету Русской земли. Воля – изначальный Бог на Руси. Алчна к ней Русь, и многие лета алчна будет. Вот Улыба мой к тебе в дружину просится. И отпущу его, коли ты пожалуешь. Не стану неволить мудростью письма. Видел я, аки христиане своему богу молятся. В церкви-то духота, теснотища, да все на коленях стоят. Хочешь ты, княже, чтобы вся Русь на коленях стояла, хочешь, чтобы иноземному богу молилась и вместо песен псалмы пела? Хочешь ты, княже чтобы русский люд аки рабы стал? Худое дело ты задумал – русскому люду бога искать.

– Христианство – вера вещая, – креп голос князя. – Многие земли и народы приняли ее. Нельзя Руси поперек стоять, ибо войны грозят ей жестокие. Торговые люди челом бьют, жалятся, товар-де за морями не покупают, поганый, рещат, товар... А еще я новое письмо Руси дам, да чтение, ибо вера христианская – книжная, чистейшая.

– Чем не ладно письмо русское, от отцов наших пришедшее? – осерчал Дивей. – Сказывал я деду и отцу твоему, и тебе решу: письму да чтению не одних княжичей да боярычей учить надобно, елико сынов купеческих, и других людишек, кои тебе да Руси служат.

– То поганое письмо, за морями неведомое и в учении тяжкое. – Расправил великий князь рубаху под пояском, головой тряхнул. – А уже ходит по Руси другое письмо, братьев солунских, Кирилла и Мефодия.

– Тяжкое да поганое? – еще пуще осердился Дивей. – Я же тем письмом об Игоре Рюриковиче слово доброе писал, и об отце твоём песни складывал, аже бы чада твои, и чада чад твоих умом их живот постигли да мудрость имали. И о тебе, княже, нынче я песнь сложил, но рещешь ты – поганая та песнь и токмо молитвы чужезычно писанные святы?... Молитвы-то на зрак²⁷ токмо текут, ровно мед в уста, а исподволь-то они браздою на лик твой, на сердце и думы лягут... Люб ты мне, княже. Сызмальства жалел, от братьев твоих, Ярополка да Олега, упреки слушал – сын рабичи... Страсть аки больно слушать было.

Насупился великий князь, бровь гневно выгнул. Уж который раз старец ему про мать поминает. А в сердце княжеском рана старая, и болит, и саднит – сын рабичи! Елико потешаться можно? Елико бредить душу да струпья с той язвы ковырять? Рогнеда, княжна Полоцкая, вельми дерзка была, в бешенство вводила. «Не хочу за рабичича идти, – крикнула. – Хочу за Ярополка!» И до сей поры нет-нет да и помянут Владимиру про мать-рабичу.

Дивей же на гусях подыгрывает и знай себе сказывает:

– Польстился ты, княже, на товары заморские, а вкупе с товарами и на бога заморского. Нет бы тебе Русь соколом в небо поднять, окрылить ее славою да силою, аже бы гости из-за моря сами плыли к тебе, и товары везли, и земле нашей поклонялись. Ты же походами на русских же князей ходишь и бьешь их до смерти. Тем временем хазары да печенеги города и веси жгут, людишек в полон, в рабство уводят...

Оглянулся великий князь – оторопел: Божье око следит за ним, и лик мазанный гневом обьялся.

– Слеп и глух народ той земли, где вместо песен молитвы поют, где от бога не благодать, а страх исходит, – промолвил Дивей, и стихли струны под его перстами. Владимир по светлице прошел – огонь свечей затрепетал, поклонился вослед.

– Добро служил ты Руси, Дивей, вельми добро, – сказал князь. – Чаю я, еще послужишь. Абы не след летописцу и песнетворцу великому князю перечить, против воли его идти. Хочу я быть с тобой в купномыслии, а потому не противься, с зарею ступай на Днепр и прими свя-

²⁷ Зрак – вид.

тое крещение. Будешь при дворе моем жить и лиха не знать. А поелику ты греческое письмо да язык знаешь, велю тебе ихние святые книги на русский язык переложить да новым письмом записать. Харатьи же со старым, поганым письмом сожги, дабы не гневить светлейшего Христа-спасителя. А тебе дарю шубу со своего плеча! – поднял великий князь соболью шубу и на плечи Дивеевы набросил. – Иди почивать до зари. Улыбе, сыну холопью, волю даю. После крещения присылай, возьму я его в дружину. Быть по сему!

Тряхнул плечом Дивей – спала шубейка на пол, – ожег взглядом князя и вышел вон.

Кровью налился Владимир – экое безблагодие! – заметался по светлице, кликнул доверенного боярина.

– Не пускать Дивея из терема! На чеп²⁸ его, в темницу, да чтобы людишки не видели.

Боярин давно при дворе служил, знал княжеский норов и приказ исполнил в точности.

Великий князь еще пуще заметался. Куда ни кинется – всюду за ним глаз Божий. Снова призвал доверенного.

– Велю Дивея силой крестить! – топнул ногой. – Аже бы от старца сего поганая вера и ересь противу чистейшей христианской по Руси не пошла! Возьми-ка, боярин, попа с собою да сейчас же ступайте на Днепр. Хоромину же Дивееву вместе с харатьями погаными дотла сожги.

Убежал боярин исполнять приказ княжеский. Владимир рухнул перед иконой на колена, замахал десницей:

– Спаси мя, Господи! Тебе одному молиться стану – спаси! Дай мне веру, покою дай! А я великое дело сотворю на Руси. Я поведу к тебе, Боже, людей своих, а ты прими их в лоно свое святое! Да токмо русскую душу оставь! Всели в нее благость свою, присовокупи к храбрости мудрость, а к вольнолюбию – покорность. Мне же веры дай!

Помолился так великий князь, прислушался к себе. Не дает Бог веры, пусто в сердце, холодно и пусто.

– Веры! Веры дай! – закричал князь и потянулся руками к иконе. – Веры и покою!

Вскорости доверенный боярин прибежал. От порога пал ниц лицом, пополз к ногам княжеским.

– Не вели казнить! – кричит. – Вели миловать! Макнули мы с попом старца Дивея в Днепр, абы крестить его, да утоп он! Утоп! Ровно камень ко дну пошел!

– На то воля Господня, – сказал великий князь и взял ковш с медом. – На, пей за верную службу. Да буди глашатаев моих! Заря поднимается...

Только сказал Владимир – ослабли руки, подломились ноги: все узрел Божий глаз, и почувдилось князю – слезы покатались из мазаного ока. А в голове-то слова зашевелились, греком-попом сказанные: не убий, не укради, возлюби... Не убий, не укради, возлюби...

С зарею Киев будто пожаром объялся. Собаки воют, кони по улицам шарахаются и ржут испуганно. К Днепру многотысячная толпа идет, босая, в исподнем, как велено было. Смешался люд: где бояре, где смерды иль холопы – не разобрать. Дружинники верховые по Подолу рыщут, выволакивают строптивых за волосы, хлещут плетью и к реке волокут. Русские христиане, что ранее крещение приняли, на подмогу дружинникам пришли. Лупят, дерут, секут полуголых людишек. Плач да стон плывет, ровно при набеге печенежском. Ветхие старики качаются тенями среди молодых горожан, матери с грудняками да отроками ташутся, девки молодые, стыдливые – ор над Русью стоит.

А заря-то все пылает, в полнеба выросла. Покраснели городские стены, багряно засветились терема и хоромины, а земля, ровно уголья, рдеет под пеплом седых трав. Сгрудился люд на берегу, белый, холстяной, и пошел в воды Днепра. Кто сам, с радостью и блаженством на лице, кого силой в воду спихнули. Сперло дух от холода, разом стих гомон и рев, и понес-

²⁸ Ч е п – цепь.

лась над рекою речь иноземная. Греки и болгары-попы изо всех сил стараются, да не внемлет ухо чужому слову.

Тем временем Улыба, сын холопий, бегал по пустому городу в обгорелом платье – великого князя искал. В терем его не пустили – огрели пикой по спине и на Днепр отослали. Встретился ему Первуша, дружинник княжеский, витязь храбрый и гулеван отчаянный. Схватил, к себе во двор заволок и сует ковш с вином.

– Пей! Пей да петь будем! А то все куда-то разбежались – повеселиться не с кем!

Едва отбился от него Улыба, вино расплескал, бочку перевернул, створку ворот вышиб плечом и на Днепр утек. А там схватили Улыбу дружинники и в воду бросили. Вынырнул он – и на берег. Проскочил мимо попов – и к князю, который на круче стоял.

– Где Дивей? – кричит. – Где мой дедушко?

Столкнули Улыбу с кручи и окрестили вместе с человеком другим. Он же все одно не угомонился. После крещения великий князь с дружинниками поехал на холм, где капище было, а Улыба за ним. Глядит, спешиваются дружинники и давай идолов топорами да мечами рубить. Порубили в щепки и запалили. Пробился Улыба к князю. Благо что среди дружинников и люд простой был, новокрещеный, помогал идолище поганое сокрушать.

– Где мой дедушко? Где Дивей?!

Затрясло Владимира. Приказал он поймать холопа и плетью драть, но увернулся Улыба, спрятался. А дружинники-то повалили Перуна-бога и топоры занесли над ним. Но тут великий князь десницу поднял: не рубить Перуна-бога! Несите его на Днепр!

Двенадцать дружинников взяли Перуна и понесли на реку. Холопий сын, крадучись, следом побег. Притаился в кустах, выглядывает, как бы поближе к князю подойти. Ввергли Перуна в Днепр, дружинники в лодки сели и поплыли за идолом. Рассмеялся кто-то над рекой:

– И Перуна-бога окрестили!

– Хватит, постоял над нами!

– Христу сладчайшему – сла-а-ава-а-а...

Выскочил Улыба из кустов и опять к князю:

– Где Дивей? Где дедушко мой?!

Объял великий князь, заозирался с ужасом и давай лоб крестить. Улыба же не стал ждать, когда словят его дружинники да оруны новокрещеные, и порскнул с берега в Подол. Чужеземные попы да дружинники ходят толпою по городу, хоругви носят, дымом окуривают, словно и так мало дыму в тот день на Руси было. А еще песни поют – псалмы, песни неведомые на Руси, непривычные уху. Слушают их люди, кто-то подтянуть старается, но не поются чужие песни, не приемлет их душа русская. Заместо благости посуленной кручина одолевает, ровно это не Владимир с победой и добычей из похода вернулся, а степняки налетели и покорили Киев, одолели великого князя и угоняют теперь в полон всех людей русских.

И веревки на шее нет, а ровно связанные...

Молодой боярин Первуша в Корсуни так сабелькой наигрался, что в хоромах своих то и делал, что спал, бражничал да с веденицею²⁹ тешился. Этим утром все дворовые люди и домо-чадцы на Днепре крещение принимали, он же все проспал в погребке под винной бочкой. А как проснулся, слышит – эко петь на Руси стали! Будто сроду не кормлены и не поены, будто глотки у певцов попересыхали.

– А-алилу-у-у-я... – тянут как мертвого за ноги.

Выкатил Первуша бочку вина, вышиб крышку и ковш поставил.

– Пейте, люди добрые! Пейте да пойте, абы душа вольным соколом взметнулась!

Попы стороною обойти хотели, но Первуша расставил руки да и остановил враз певцов.

²⁹ В е д е н и ц а – главная жена.

– Экие вы чудные! – рассмеялся. – Видано ли, чтоб на Руси от вина морду воротили?

Сгрудились попы – нету хода – и машут руками, и гомонят чего-то. Боярин же ковш зачерпнул, сам отпил и сует попу, и плещет ему вином на золоченые одежды:

– Ну, пей же, пей!

– Изыди, сатана! – верещит поп, и люди, что за ним были, тоже блажат, словно безздравленники³⁰, ногами топают. Народ со всех сторон сбегаться начал, стоят, рты разинули.

Первуша знай свое:

– Коли вы народ веселить пошли, что же вина не алчете? Экие потешники на Руси нынче! Не веселье от вас, а молва, ровно от супостата. Я петь стану!

Хватил он ковш вина, вскинул голову, расправил русые кудри и запел. Да так, что на минуту стих люд кругом, и потешники в черных одеждах стихли, прислушались. Улыба хотел протолкаться сквозь народ – запрудил толпа амболку³¹ – да в Подол, к Дивеевой хороmine бежать, но застрял среди люда, заслушался...

– Да Первуша-то некрещеный! – крикнул кто-то в толпе. – И креста на нем нету!

Вздрогнула толпа, и ропот возреял над головами. Обступили боярина чернецы и новокрещенные, орут, десницами машут. Поп же, которому Первуша вина подавал, взбагровел от бешести:

– Язычник поганый! Сатана! Дьявол! На костер сажать его, нехрестя!

– На костер! – подхватили чернецы.

– Он Перуну-богу поклоняется!

– Креста на нем нету!

Первуша допел песню, глянул на разъявленные рты – засмеялся.

– Как же нету-то? Вот он крестик!

И вынул из-под рубахи нательный крест.

Толпа приутихла, новокрещенный люд заозирался.

– Отступник! – закричал поп яростнее. – Еретик! Гореть тебе в геенне огненной!

Монахи замахали руками, крестясь, и кое-кто в толпе тоже неумело, на других глядячи, перекрестился.

– Я в Корсуні не сгорел, а дома уж не сгорю! – засмеялся Первуша и снова запел. Народ же так запрудил улицу – ни пройти ни проехать попам, и уж со всех сторон напирает, сдавливает. Тут уж не до расправы с боярином-отступником, только бы выбраться.

Тем временем Владимир со свитой нагрянул – расступился люд, затаил дыхание, замер. Боярин песню допел и лишь тогда великому князю поклонился, тряхнул головой.

– Славна ль песнь моя, княже?

– Славна, аки и воя ты славный, Первуша, – сказал Владимир. – Да ныне святыя псалмы петь надобно, еже³² крещение приняли.

Засмеялся боярин, взмахнул рукой, словно бордунью.

– Вольный я, княже! И песни мои вольные! Слушай еще! – Он взгромоздился на винную бочку и запел.

Попы же и чернецы затаили свое, эхом откликнулись новокрещенные, однако Первуша расправил грудь, и голос его слился с дымами, подпирающими небо.

Улыба и слушать забыл, и чувствовать. Он продирался сквозь народ, не сводя глаз с высокой княжеской шапки, с бледного лица его. Подойти близко не удалось – мешали попы и конные дружинники. А хор попов и новокрещенных понудил, понудил еще и, задавленный Перву-

³⁰ Безздравленник – сумасшедший.

³¹ Амболка – улица.

³² Е же – потому что.

пиным голосом, умолк. Поп в ризах метнулся к великому князю, воздел руки, закричал что-то черным ртом.

– Боярин! – в ярости окликнул Владимир доверенного.

Тот тронул коня и, наступая на Первушу, потянул из ножен меч. Верно и сгубили бы тут же битливого³³ боярина и храброго дружинника Первушу, да все-таки протиснулся к княжескому стремени Улыба.

– Где мой дедушко?

Тихо так спросил, кроме Владимира, никто более и не услышал. Вздогнул великий князь, покривился в седле и чуть было не рухнул наземь. Испугался Улыба, отскочил в сторону, затерялся в толпе. Доверенный боярин упредил, удержал князя, подпер его плечом. Опамятовался Владимир и еще пуще взбеленился, лютую казнь придумал для Первуши.

– Отсеки ему язык! – велел он.

Двенадцать дружинников, что Перуна-бога по Днепру сплавляли, навалились разом на молодого боярина, вмяли его в землю, но боярин и из земли встал. Пришли на подмогу чернецы – не осилили. И уж когда новокрещенные встряли, кинулись на Первушу, ровно вороны: кто руку держит, кто голову, кто саблей рот разжимает – одолели, отсекли Первуше поганый язык...

Расторопные новокрещенные стали идолов из хором боярских выносить да на костер сажать. Все, что мечено было знаком языческим, – все огню отдали. А попы научали:

– В огонь! В смиреннии и молитвах жить надобно, рабы божьи! В аду отступникам гореть, в смоле кипеть!

– В огонь, – шептал и молился великий князь киевский. – В огонь. Абы и следа не оставить от веры поганой. Присно и во веки веков!

И поднимался над Киевом еще один дымный столб.

Прибежал Улыба на Подол. Глядь – где хоромина Дивеева стояла, только черные головни лежат и дымок еще курится. Волхвы Девятко и Жмура около бродят, попов и великого князя поносят.

Сел Улыба на землю, пепел из руки в руку пересыпает. Может, косточка какая от Дивея осталась... Но лишь наберет горсть – ветер тут как тут, – разнесет пепел, и на ладони лишь угольки останутся.

– Не тщишь, Улыбушка, – говорят волхвы. – Этак не отыщешь ты дедушку своего. В огне он не сторел, в воде не утонул.

– Где же он? – встрепенулся Улыба.

– А где он – токмо мы и ведаем, – зашептали волхвы. – Идем с нами – укажем!

Повели они Улыбу в таилице, достали ларец с харатями.

– Тута Дивей, – сказывают. – Тута и борошень его. Твоя она теперь. Бери да владей, аки князь престолом.

– Песнь Дивеева! – закричал Улыба.

– В леса уходить надобно! – торопят волхвы. – Нагрянут попы, и пропадет песнь Дивеева!

Подхватили они ларец да отай в черные леса подались. А там народ разный собрался: где боярин, где изгой – уж и не понять, все вровень стоят и молчат, будто воды в рот набрали. Только Первуша с обнаженной саблей перед народом мечется, в сторону Киева указывает и орет безязыко.

Пробился Улыба в середину, поглядел на народ, потом на дымы, что скрестились над городом, да и запел.

И понеслась над землею песнь Дивеева, только не под гусли звончатые, а под треск огня и стон, что над Русью стоял...

³³ Б и т л и в о г о – драчливого.

Скитское покаяние. 1961 год

Только утром Марья корову подоила, перекрестила ее и со двора выпустила – одноглазый Лука объявился. Подошел Лука Давыдыч, на городьбу облокотился, веригу свою поправил и устался на Марью. Здоровый глаз у него, ровно небо, голубой-голубой, а второй – будто сучок выгнивший в старой осине.

– Коровку подоила? – спросил Лука Давыдыч и погладил коровью холку. – Экая справная у тебя коровка. И молочко, поди, жирное дает?

– Дает, Лука Давыдыч, дает, – проронила Марья, не поднимая глаз и понужая корову.

– А я уж и не помню, когда молочное ел, – признался Лука. – Зарок дал, обет: пестовать три года...

Он снова поправил веригу – пудовый буровой ключ, висящий на шее, потер плечо под широкой, посконной рубахой.

– Бо-ольно! – с радостью сказал он. – Больно-то как!

Марья отвернулась, глянула вдоль улицы, куда из дворов выходили и тянулись к лесу коровы.

– Не смешил бы людей-то, верижник, – бросила Марья. – Будто тебя здесь не знают...

– Знают, Марыюшка, знают, – ласково пропел Лука Давыдыч. – Всякого знают... Да токо на молении я теперь, во искупление грехов своих в пустынь подался, вериги надел, плоть мучаю.

– Ох, дурак дураком, – вздохнула Марья, намереваясь пойти. – Люди вон, слышно, в небе летают, а ты с железякой носишься...

– Откуда слышно-то? – ухватился Лука и сощурил голубой глаз. – Радиво слушала? Али еще откуда?

– Слыхала...

– И не молишься, поди, нисколь, и постов не блюдешь?

– Сколько молюсь – Богу известно, – отмахнулась Марья.

– Чего пришел-то, верижник окаянный?

– А за солью, Марья, за солью, – сказал Лука. – Соль у меня в келейке кончилась. Я ж теперь, аки апостол Петр, акридами питаюсь, да без соли и Бог не велел.

– Нету у меня соли для тебя, – отрезала Марья и направилась к крыльцу. – Бог подаст.

– А что за люди к тебе пришли? – остановил ее вопросом Лука. – Мужик и баба...

Марья повернулась, взмахнула рукой.

– Странники, Лука, странники...

– Глянуть бы, что за странники такие? – заинтересованно проговорил Лука Давыдыч. – Нынче всякого люда в тайге полно. И хорошего, и плохого. Кто с добром идет, кто с разором. Нынче и странника не каждого приютишь, Марья, уж я-то знаю... Твои-то люди, поди, никониане, а то и вовсе лба не крестят. А ты их в избу свою пускаешь. Они тебе керосином иконы помажут, осквернят святость-то да уйдут.

– Иди, Лука, ступай себе, – сдержанно произнесла Марья и поднялась на крыльцо.

– Ты на меня зла не держи, – вдогонку сказал Лука Давыдыч. – Я с добром к тебе заходил. И вдруг поклонился в пояс, так что верига съехала и стукнулась оземь.

– И за Тимку своего не серчай на меня. Все испытание Господне, все от владыки всевышнего!

Лука Давыдыч поднял лицо к небу и широко перекрестился двуперстием. Сползшая с плеча рубаха оголила стертую цепью и изъеденную гнусом тело. Лука попятился немного, затем повернулся и пошел вдоль улицы, ступая босыми ногами в холодную, по-утреннему, пыль. Марья поглядела ему вслед, перекрестилась – и в избу.

Пришедшие вчера люди, умаянные дорогой, еще спали. Женщину она положила на кровать у входа, где, бывало, спал Тимофей, а мужчину – на лавку, к окну. Спросить, кто они друг другу, Марья постеснялась, муж с женой или брат с сестрой, но заметила, что мужчина устраивается на лавке, и решила, что все-таки брат с сестрой, потому как чужие люди, особенно мужик и женщина, ходить вместе не могут. Да и имен не спросила: неловко, а потом, поздно уж было, устали люди, отдыхать надо. Вон женщина лежит, ночь проспала, а кровинки в лице нет. Видно, городские, по болотам да шелкопрядникам не хаживали. И обутка у них плохая – сапоги резиновые. В броднях бы, все полегче было... Мужчина молодой еще, и бороды не носит. Во сне, слышала Марья, все кликал кого-то, подзывал будто, а кого – не разобрать. Тоже умаялся, хоть и мужик. Странники, одним словом, – Марья вздохнула, – а странников спрашивать грех великий. Если ходят по свету, значит, нужда есть.

Она процедила молоко, стараясь не греметь подойником, убрала его в погреб и, вымыв руки, прошла в горенку. В углу, на божничке, стояли медные иконки-складенки и висел черный восьмиконечный крест. Марья зажгла лампадку и встала на колени – молиться...

Анна проснулась от шороха молока в кринке: хозяйка, до глаз завязанная платком, цедила молоко через самодельное ситечко. Анна глянула сквозь ресницы и снова закрыла глаза. Надо полежать, подумать, что делать дальше, что говорить, как вести себя. Она прислушалась к дыханию Зародова, спутника по странствиям, младшего научного сотрудника краеведческого музея. Тот еще спал: дышал глубоко, размеренно. Еще по дороге в Макариху, в поезде, потом на пароходе и леспромхозовском катере, Анна сделала вывод, что спутник попался ей с нервами крепкими, непорченными, и даже обрадовалась этому. Кто-то же должен в экспедиции быть всегда с трезвым умом, не терять рассудка и памяти. Зародов, как все спокойные люди, был молчалив, неторопок и спать мог в любых условиях. Теперь же здесь, в Макарихе, это немного раздражало Анну. Нужно думать, что делать дальше, а он спит, как сурок. То, что они напридумывали и напланировали по дороге, сейчас ей показалось никуда не годным. Да, материалы Никиты Евсеевича Гудошникова есть, вон они лежат, в рюкзаке, бережно завернутые в полиэтилен и спрятанные в кожаную папку. И в материалах есть все: списки старообрядцев, имеющих рукописные и старопечатные книги, списки названий тех книг, названия сел, деревень, где есть кержаки, схемы, как пройти в дальние, таежные скиты, и еще много чего, но что же делать дальше? Вот ходит и хлопочет по хозяйству Марья Егоровна Белоглазова, отмеченная Гудошниковым особо. Марья – жена бывшего наставника старообрядческой общины, погибшего в войну. И книг за ней числится – полный круг чтения, то есть более сорока. Самое ценное – рукописный сборник четырнадцатого века, другой «помоложе», но с текстом «Сказания о Мамаевом побоище» интересной редакции, есть три книги федоровской печати...

Все есть и у кержаков, и у Марьи Белоглазовой, но видит око, да зуб неймет.

Вот Марья Егоровна в горницу ушла, и занавески сомкнулись за нею. Что там, за ними?.. Вот, слышно, шепчет что-то... Анна чуть повернула голову, прислушалась.

– ...денно и ночью молюсь по тебе – убиваюсь. Не водой умываюсь – слезами горячими. Докричусь я тебя, дошепчусь, моя кровиночка, и прозреешь ты, и развеешь смуту на душе своей да вспомнишь о матери-горемычнице. Все глаза выплачу, все слова выскажу, ослепну-оглохну и сердцем сотлею, а молить тебя не перестану. И да долетит молитва моя к сердечку твоему и уму твоему. И да по воде пойду к тебе, аки посуху, по земле пойду, ноги до колен изношу – лишь одним глазком на тебя глянуть, словечко бы твое услышать. Где ни на есть ты – заклинаю: вспомни! Вспомни мать свою! Вспомни и приди, иль отзовись хотя б, иль посулись прийти. И да успокой ты мое сердушко, хоть молвою, что живой ты и жить еще будешь... Нет мне смерти без тебя, нет мне жизни без тебя, Тимофеюшка-а-а...

Анне почудилось, будто эхо где-то отозвалось – а-а-а! – отозвалось голосом чистым и высоким. Непонятно было: то ли молится Марья Егоровна, то ли плачет.

– Во одно небо с тобой глядим, от одного солнышка греемся, по одной земле ходим, а нет нам встречи-свидания. Разлучила-развела нас судьбинушка, ровно матери ты знать не знал, а я – сыночка своего видеть не видывала. Что за времечко такое нагрянуло, Господи! Дети гнездышка родного не помнят, не тоскует их сердечко по дому, будто у зверей лесных...

Ком подкатил к горлу. «Плачет, – подумала Анна. – По сыну плачет». Вчера вечером они с Зародовым толком-то и рассмотреть хозяйку не успели, хотя стояли над Макарихой белые ночи и в избе без лампы было светло. Марья Егоровна ходила, завязанная темным платком по брови, и даже возраста ее было не определить. То ли сорок лет, то ли все семьдесят... Но плач хозяйки был особенный, бесслезный, из тех самых плачей, которые они еще в студенчестве записывали на фольклорной практике. Однако там старушки не плакали, а просто пересказывали тексты, да еще посмеивались: экое занятие – старые песни собирать, и на что только? Голос Марьи Егоровны царапал сердце, и подступала какая-то тихая тоска одиночества. Вспомнилась мать, еще не старая женщина, но уже с горькой складочкой на губах, какая появляется у всех матерей, проводивших своих детей из дому в большой мир пусть и не навсегда, но надолго. Вот ведь как получилось: пока бегали с оформлением документов экспедиции, пока «добывали» материалы Гудошникова, ушла прорва времени, и Анна не успела съездить домой – в маленький шахтерский городок. А это почти рядом, три часа на поезде... Надо хоть письмо написать отсюда, пускай мать не волнуется.

– Уж и звериное сердце бы растаяло, как я молю тебя, Тимофеюшко, уж и звериное сердце бы услышало да откликнулось...

Анна приподняла голову от подушки и глянула на Зародова. Тот лежал на лавке, заложив руки за голову, и смотрел в потолок, крашенный зеленой краской и потемневший от времени.

– Вставать? – одними губами спросил Зародов, косясь на дверной проем горницы.

– Только тихо, – предупредила Анна.

Зародов осторожно спустил ноги с лавки и на цыпочках прошел к порогу за сапогами. Еще в городе Зародову было поставлено условие: подчиняться Анне беспрекословно и исключительно во всем. Зародов, не моргнув, согласился.

– Тем лучше, – сказал он. – Значит, как в армии – говорит старшина: бурундук – птичка, следовательно, птичка.

Через минуту, обутый и одетый, Зародов сидел на лавке и тер кулаком припухшие от сна глаза.

– Как в разведке, – прошептал он Анне. – У меня такое ощущение, будто нас в тыл врага забросили. По тонкому льду ходим: чуть не так – и провал.

– Отвернись, разведчик, – сказала Анна и встала с постели. И только сейчас ощутила, как болят икры ног, ломит поясницу и шею. Тридцать километров отмахали вчера, а может, и больше – кто мерил здешнюю дорогу?

– Поспали бы еще, – заботливо сказала Марья Егоровна, неожиданно появившись из горницы. – Время-то – солнышко токо встало.

– А кто рано встает – тому Бог дает, – брякнул Иван Зародов и глянул на Анну. – Мы с солнышком привыкли...

«Разговорился, – недовольно подумала Анна. – Сказано же было – молчать...»

Марья Егоровна ничего не ответила и даже не взглянула на Зародова.

– Коли помыться желаете, – во дворе у нас, – сказала она. – Летом-то мы на улице умываемся.

Пока они умывались, пока Марья Егоровна собирала завтрак в летней дощатой кухне, Анна сосредоточенно думала, как вести себя, что говорить, как объяснить, зачем пришли? Разработанный с Ароновым план и его наставления вдруг показались какими-то нежизнеспособными.

собными. Вроде все было правильно: не спешить, искать контакта, доверия у старообрядцев, на все вопросы напрямую не отвечать, чтобы оставалась какая-то загадка у них. Аронов предупреждал, что кержаки – народ проницательный и психологией владеют не хуже цыган, но вместе с тем доверчивы и где-то наивны. У хранителя все-таки опыт был. Как ни говори, три года ездил с Гудошниковым, кое-что посмотрел, кое-чему научился. О книгах заговаривать, лишь когда уже старообрядцы перестанут бояться нового человека, привыкнут, притрутся. Но когда это будет? И как не пропустить этот момент?

Чем больше думала Анна, тем сильнее и неожиданнее подступали страх и растерянность. В самом деле, будто в тылу врага... Больше всего смущало Анну то, что Марья Егоровна вообще ни о чем не спрашивала. Вчера они пришли поздно, отыскивали избу Белоглазовых, постучались и были впущены без слов. Так же без слов их накормили, уложили спать, и сегодня утром продолжалось то же самое.

– Вот туто-ка колба моченая, – потчевала Марья Егоровна. – Для аппетита хорошо. Оно, правда, пахнет после изо рта, да кто тут нюхать станет? Ешьте хорошенько, ешьте, а на меня не смотрите, я дома.

– Спасибо, спасибо, – кивала Анна и, чтобы скрыть растерянность, отважно черпала острую, терпко пахнущую чесноком колбу. Иван Задоров ел не спеша, часто поглядывая на своего начальника, словно бы спрашивая: а так ли я все делаю?

– Крепко ешьте, – приговаривала Марья Егоровна. – С дороги-то всегда есть хочется. Дорога-то, она не токо ноженьки мотает, а и кишки на кулак...

Ну хоть бы поинтересовалась – надолго ли в Макариху, куда путь держите или самый естественный вопрос: откуда про нее-то узнали, про Марью Белоглазову?

Успокаивало и оставляло надежду единственное – их приняли, угощают, ночлег дали. Не выставили за ворота, не побрезговали мирскими людьми, не побоялись «опоганить» избу и посуду чужаками – словом, не сделали того, чего больше всего опасалась Анна. Это успокаивало, но и обескураживало.

После завтрака они вышли во двор и, не сговариваясь, сели на вросшее в землю бревно у плетня. Над Макарихой перекликались запоздавшие петухи, где-то брюзжал трактор, и поднималось розовое, но уже горячее солнце. Марья Егоровна, убрав со стола, повязала другой платок и, не говоря ни слова, куда-то ушла, как будто так и надо, оставив непрошенных гостей в полной растерянности. Едва она скрылась за калиткой, Иван Зародов встал и расслабленно прошелся по двору.

– Товарищ начальник, какие указания будут?

– Будут – скажу, – недовольно бросила Анна и отвернулась. – Ждите.

– Я и так вам в рот заглядываю, – вздохнул Зародов. – Может, дров ей поколоть? Глядите, какая куча чурок. А? Я ведь в прошлом тимуровец.

– Помолчите, пожалуйста, – поморщилась Анна. – Без ваших шуток тошно.

– Понял: бурундук – птичка, – сказал Иван и сел на место. – Кстати, а избу она не закрыла. Заходи и бери что хочешь... У них что здесь, другие социальные отношения?... А я, пожалуй, дреману часок. – Он прислонился к плетню и закрыл глаза. – Бабушка придет – пихнете...

Может, пойти, походить по деревне, размышляла Анна, с чего-то начинать надо, не в гости приехали, на работу. Зайти к начальнику лесоучастка, все-таки официальное лицо, может, он что подскажет? О Макарихе, поселке в сто дворов, она кое-что уже знала. Капитан катера, на котором плыли двое суток от райцентра, говорливый мужичок, едва узнав, что молодая пара (их приняли за мужа и жену) едет в Макариху, вытаращил глаза и засвистел.

– Вас что же туда, за тунеядство? Иль по вербовке?

– По вербовке, – сказала Анна.

– Ну это еще ничего, – протянул капитан. – Кержакам понравится – на постой пустят. А туники в бараке живут. Весе-елый барак! Особенно в аванс и получку. Кержаки грозятся спалить его к едрене фене. А ведь и спалят!

На северной реке по-весеннему еще было холодно, в трюме, куда поместили Анну с Зародовым, не оказалось стекол в иллюминаторах, да и весь катер был битый, мятый, обшарпанный молевым лесом и видом своим походил на капитана. Но капитан все-таки душа-человек, позвал в рубку – единственное теплое помещение. Позвал и первым делом вынул из-под штурвала початую бутылку, отер рукавом горлышко, сунул Зародову:

– А ну-ка, парень, врежь!

Зародов глянул на Анну и сказал – не пью. Затем капитан расспросил – зачем да куда и догадливо изрек:

– Понял. Деньги делать поехали. Только ты, парень, сам запомни и бабе своей скажи: денег в Макарихе нету. Нынче ж реформа денежная. Старыми-то получали – ого! А на новые переложить?.. В лесу денег нету, в лесу мантулить надо. Не зря ж туников к нам на исправление присылают! – Анне разговаривать с ним не хотелось, впрочем, и капитан все время обращался лишь к Зародову, не замечая «бабу». Зародов же помалкивал, косясь на Анну.

– Да-а, – вдруг протянул капитан. – Гляди-ка, сколь нынче реформ! И деньги поменяли, и в космос человека запустили. Кержаки говорят, это все к концу света.

На исходе пути капитан, окончательно расположившись к попутчикам-пассажирам, неожиданно предложил:

– Вот что, господа вербованные. Нахаркайте вы на подъемные, что вам отвалили, не суйтесь в лес, там и без вас балду гоняют. А купите-ка вы пасеку колодок на десять, и года через три озолотитесь. Там вокруг Макарихи шелкопрядников и гарей тьма, медосбор – убиться легче. Кержаки там старыми деньгами избы обклеивали. Вы держитесь к ним поближе и на ус мотайте. У них, лешаков, ничего не пропадает. Летом мед, осенью орех, зимой пушнина, весной рыба. Умеют жить.

Вспомнив это, Анна усмехнулась. Может, и правда, завести пасеку? От мысли пойти к начальнику лесоучастка она тут же отказалась. Аронов инструктировал: как можно меньше ходите к местным властям, в некоторых случаях даже избегайте их. «Я, – сказал он, – не знаю, почему это так, но Гудошников никогда не обращался ни в райисполкомы, ни в сельсоветы, а милиционеров так вообще за версту обходил. Наоборот, казалось бы, ему сподручнее было действовать через местные власти. Он – герой гражданской войны, орденосец, бывший комиссар, – кого хочешь убедил бы и помощи добился. Он же на протезе хромал десятки верст, а машины не просил...»

Вот она, Макариха, заповедное место Гудошникова. Судя по материалам, и был-то он здесь всего раз, правда, четыре месяца прожил. Но все равно, выходит, можно найти подход к старообрядцам. Он есть, он существует, только с какой стороны?

Дремавший Зародов вдруг выпрямился, смахнул пот со лба, выступивший под горячим солнцем.

– Так, озарило, – будничным голосом сказал он. – Хватит, начальник, ломать голову.

– Что еще? – поморщилась Анна.

– Будем использовать старый капитал. Вернее, чужой капитал, если пока своего не нажили. Нечего от бабушки скрывать. Надо ей заявить или намекнуть, что мы пришли от Гудошникова. Его-то она помнит! Наверняка помнит! И ей сразу все ясно, и нам полезно.

– Это уже неплохо, – оживилась Анна. – По крайней мере, первая подходящая мысль. А вы, Ваня, соображаете.

– Ну так, – пожал плечами Зародов. – Подчиненные иногда тоже кумекают, если их не зажимать. А вообще, мне во сне всегда хорошие мысли приходят.

– Тогда спите еще, – распорядилась Анна. – Хоть целые сутки.

– Это можно, – сказал Иван и снова привалился к плетню.

Однако поспать ему не дали. По-хозяйски отворив калитку, во двор вошел высокий, седобородый старик в рубахе навыпуск и валяной крестьянской шапке, несмотря на грядущий жаркий день. Он мельком глянул на пришлых, поздоровался и с ходу направился в избу. Через несколько минут старик вышел оттуда с тяжелым, на длинной ручке, колуном и, поставив одну из чурок на попа, стал колоть. Работал он неторопко, с прицелом, с глубоким придыхом в момент каждого удара, и белые поленья отлетали с веселым звоном. Расправившись с одной чуркой, он развернул другую, толстую, комлевую, примерился и развалил ее пополам, в три удара. В старике, а на вид ему было, пожалуй, за семьдесят, чувствовалась какая-то спокойная, без удали и молодцеватости, мощь. Он, как тяжеловоз, впрягшись в оглобли, тянул груз не спеша, размеренно, зато мог въехать на любую гору. Между тем куча дров росла на глазах, и Зародов не выдержал.

– Пойду помогу, – бросил он и добавил с поддевкой: – С вашего позволения, конечно.

Иван подошел к старику и, выждав, когда тот расправится с очередным чурбаком, попрощался с веселым задором:

– Ну-ка, дед, дай-ка мне размяться. Руки чешутся!

Старик оперся на колун, неторопливо оглядел Зародова.

– В сенях там еще один есть, – сказал он. – Токо немоченый, с черешка соскакивает.

– Ничего! – возразил Иван. – Клин поставим.

Мужики замахали колунами, старик по-прежнему размеренно, Иван – самозабвенно и азартно. Сидеть и смотреть было уже неважно. Анна подошла к мужикам и начала отбрасывать поленья, выхватывая их чуть ли не из-под колунов. Простая крестьянская работа неожиданно сблизилась их, и, еще не обмолвившись ни единым словом со стариком, Анна вдруг ощутила доверие к нему и даже какое-то притяжение. Через полчаса уже казалось, что в Макарихе они давно и что не первый раз они вот так близко встречаются с этим стариком, и бесплодные вопросы, мучившие Анну все утро, будто отступили и потеряли прежнюю остроту. Даже боль в суставах прошла.

Тяп, тяп – стучал Зародов, стараясь угодить в одно место.

– Г-гах! – выдыхал старик, и шапка подпрыгивала на его голове.

Они были под стать друг другу, Иван даже пошире в плечах, оба длиннорукие, прямые. Правда, Зародов сильно потел, волосы размещались сосульками, тогда как на старике и капли не выступило. Он только покраснелся, побагровел, отчего белая лохматая борода казалась еще белее.

«Хорошо, все хорошо! – про себя восклицала Анна, отшвыривая дрова и переворачивая мужикам чурки. – Пусть все идет так, как есть. Так, как есть».

– Ты, девка, не суетись, – вдруг сказал старик. – Зашибем ненароком. Отойди.

Полено выпало из рук. Анна отступила за спины и растерянно огляделась. Ком обиды, что она, выходит, здесь не нужна и бесполезна, уже подкатывался к горлу, и, подавляя его, Анна снова схватилась за поленья и начала складывать их вдоль плетня. «И в самом деле, – зашибут, – уже через минуту думала она. – Ишь как размахались... Что тут обижаться?»

Как-то само собой она снова начала думать о Марье Белоглазовой, изредка поглядывая на калитку. Вспомнился ее плач по сыну. Видно, нелегко ей одной-то, тоскует. Вот и дров поколоть некому, старика наняла, а скоро ей и сено косить... Интересно, что за сынок у нее, если глаз не кажет? Почему-то представлялся сразу мужичок наподобие веселого капитана леспромхозовского катера: говорливый, бестолковый и шалопай из шалопаяев. Мать тут убивается по нему, а сыну хоть бы что... Может, и правда в живых нет?..

В следующую секунду Анне стало жарко: вот он, подход к Марье Белоглазовой и ее доверие – сын! Имей они хотя бы весточку о нем – здесь бы как родных встретили. Нужно срочно его разыскать! Послать запрос, узнать адрес, в конце концов написать Аронову, пусть идет

в милицию или еще куда, находит сына Марьи, совестит его, уговаривает – главное, чтобы весть о нем, лучше, конечно, о его приезде, Марья Егоровна получила от них.

Тяп, тяп – г-г-ах! – стучало за спиной.

Во что бы то ни стало ее сын должен нынче приехать в Макариху! На веревке его притянуть, под конвоем привести, но чтобы был здесь. И тогда они с Зародовым станут в глазах Марьи Егоровны добрыми вестниками, а их появление в Макарихе – хорошим предзнаменованием для нее. Анна подняла поленницу в метр по всей длине плетня, когда вдруг послышался протяжный, глубокий вздох и колуны разом стихли. Она повернулась...

Старик лежал на траве, запрокинув голову и зажав ладонями лоб. Бледный, мокрый от пота, Зародов стоял чуть поодаль с черешком от колун в руках и глядел на старика с ужасом, будто убийца на жертву. Анна бросила поленья и подбежала к старику. Тот не шевелился, и только на багровом горле ходил крупный, угловатый кадык.

– Что с вами? Что?! – Анна наклонилась к старику, но дотронуться побоялась.

– Колун сорвался... – шепотом выдавил Иван, не меняя положения.

Старик простонал облегченно, перевел дух и, не убирая рук со лба, сел.

– Гли-ко, – как-то удивленно произнес он, тяжело двигая мутными глазами. – Ровно быка ссадил.

– Вам больно? До крови, да? – спрашивала Анна, осознавая собственную бестолковость. – Может, вам воды принести?

– Не суетись, девка, – проговорил старик и, отняв руки, потрогал лоб. На месте удара краснела широкая ссадина и росла шишка, опухоль поднималась быстро, вздувая переносицу и затягивая глаза.

– Я это... я нечаянно, – опомнившись, пролепетал Зародов. – Я не хотел, колун сорвался...

Старик поднял колун – тупоносую железку килограмма на четыре, повертел в руках и отбросил в траву.

– Однако приласкал, – с удовлетворением протянул старик. – Аж искры посыпались!

– Возьмите вот, платочек, – Анна торопливо намочила носовой платок в бочке с водой. – Приложите ко лбу.

– А-а, – отмахнулся старик и, поднявшись на ноги, пошел со двора. – Откололся я... Пойду.

Несколько минут они молчали. Анна проводила взглядом качающуюся, печальную фигуру старика и опустила на чурку.

– Я же не специально... – сказал Иван. – Так вышло...

– Лучше молчите, – выдавила Анна и расслабилась. – Хорошо начали: человека чуть не убили.

– Да он вроде не обиделся...

– Колуном в лоб – и не обиделся... Теперь хоть беги отсюда... Ладно, тимуровец, колите дрова, если ни на что больше не годитесь.

– Как это – ни на что? – обиделся Иван. – Я же вон неплохую мысль подсказал, про старый капитал, – он взял колун старика, примерился.

Они кололи и складывали дрова, поджидая хозяйку, а вместе с ней и ее укора, может быть, даже сурового приговора. Что это вы, скажет, пришли сюда бог весть откуда; чуть старика не убили, а теперь хозяйничаете тут. Убирайтесь-ка с моего двора, проходимцы, не надо мне вашей помощи. Вы, может, туеядцы, а я вас привечаю...

Марья Егоровна пришла только к обеду, когда вдоль плетня поднималась высокая поленница и от чурок осталась половина. Завидев хозяйку, незваные гости бросили работу и виновато присели. Зародов, голый до пояса и блестящий от пота, подтянул к себе ведро и, брякая дужкой, напился через край. Марья же Егоровна будто и не заметила, что творится в ее дворе.

Она, не запирая калитки, прошла к крыльцу и тяжело опустилась на ступеньку. Глаза ее остановились на пропыленных броднях да так и застыли.

Анна вдруг поняла, что настал момент действовать. Она села рядом с Марьей Егоровной и неожиданно для себя вздохнула по-бабы, устало и горько. Марья подняла глаза.

– Господи, зачем же вы? – тихо спросила она. – Я ведь нынче и дрова не хотела готовить... И так, поди, устали.

– Это не мы, – сказала Анна. – Тут дедушка приходил... А мы помогали.

– А, верно, Петрович был, – без интереса проговорила Марья Егоровна. – Вот тоже, мается старик, стыдно и сказать от чего... Господи, да что же это делается-то в жизни? Грешники мы, что ли, великие? За что нам испытания такие? Врагу не пожелаешь...

Ей сейчас нужен был человек рядом, независимо кто. Лучше даже, если чужой. Ей нужно было сейчас, чтобы ее слушали.

– А я в Останино ходила, в сельсовет, – сказала Марья Егоровна. – Просила запрос сделать про Тимофея, да сказывают, в район ехать надо, токо там запросы делают... Всесоюзный розыск называется...

Зародов демонстративно отвернулся от женщин и, взяв колун, принялся за дрова. Анна слушала Марью Белоглазову и думала, что перед экспедицией они с Ароновым обговорили все детали, отработали много вариантов установления контакта со старообрядцами, но никак не предполагали, что начнется все с дров и со случайной исповеди. Однако это еще ничего не значило. Рассказать, что наболело на душе, можно и первому встречному, но только чтобы этого встречного потом больше не видеть и не слышать...

Лука Давыдыч пришел в свою келейку лишь под вечер, оттопав босым верст пятнадцать по шелкопрядникам и старым гарям. На изодранных ногах кожа болталась лохмотьями, жгло исколотые пятки, ныла и горела шея, до мяса стертая верижной цепью. Домочадец – странник Леонтий – сидел возле избушки за столом из пустых ящиков и, склонясь над книгой, давил на щеках по-вечернему злых комаров. Лука поклонился ему, вежливо поздоровался и, сняв котомку, присел на ящик. Леонтий бережно закрыл книгу, огладил черную от времени обложку.

– Измарагд, – любовно сказал он. – Книга для чтения приятная, поучительная...! Ну, что принес, Лука Давыдыч?

– Что Бог послал, Леонтий, что Бог послал, – степенно проговорил Лука. – Соли маленько, лучку да огурчиков. И хлебца, из магазина.

Он развязал котомку, выложил на стол продукты и, чуть помедлив, достал книгу.

– Вот, Леонтий, старуха Смердова пожертвовала. Велела кланяться.

Леонтий оживился:

– До чтения я большой охотник! Благодарствую, Лука Давыдыч, спаси тебя Христос.

Он взял в руки принесенную книгу, осторожно приоткрыл ее, почитал что-то, шевеля губами, и захлопнул.

– Экая чудная книга! – восхищенно сказал он. – Ну ладно, вечером помолюсь да почитаю, да тебе растолкую, что здесь писано. К Марье-то заходил, к Белоглазовой?

– Заходил, Леонтий, заходил... Да что Марья-то? Всем умна женщина, всем хороша и божественна, а зло-то все еще на сердце держит. Который раз уж говорил: не вернется твой Тимка, назад его калачом не заманишь. В грехах он, аки свинья в грязи, пропащий человек, одно слово. Сказывал, не убивайся ты, Марья, понапрасну, не терзай свою душу надеждами. Так нет, она все свое...

– Как же, сын, – вздохнул Леонтий. – Ее, Марью, пожалуйть надо, побеседовать с ней, чтоб сердце отмякло.

Лука Давыдыч поглядел на странника Леонтия с завистью, с уважением. Ведь молодой еще, поди, немного за тридцать, а какой подход к людям имеет, как говорит-то с ними хорошо – заслушаешься. И читать может, и толковать, ровно наставник, и по-новому шибко грамотный. Старухи по деревням, как ни встретят – поклоны ему шлют, о здоровье спрашивают и все добрым словом поминают. Кому-то он крышу перекрыл, кому завалинку поправил, на покосе помог. Давно ли Леонтий в этих краях появился, а везде его знают... Лука перекрестился и развернул тряпицу с припасом.

– Поснедаем, Леонтий, уж и солнышко на закат.

Леонтий взял огурец, луковицу, макнул в соль и захрустел. От хлеба же отказался, безглаголиво отодвинул предложенную горбушку.

– Мне мирского и хлеба не надо. Огурчиком сыт буду.

– Я по дороге-то освятил хлебушек! – попробовал уговорить Лука. – А коли освятишь, так и магазинный есть можно. Старые люди говорят, можно, раз жизнь такая пошла. Все от Бога.

– Ты-то ешь, а я не буду. Я странник, я власти не подчиняюсь и хлебов ее есть не буду. – Лука замолчал. Видно, Леонтий знает, что говорит. Коль нельзя, зачем неволить? Странники – люди в вере серьезные, щепетильные, толк у них строгий.

– Слышь-ка, Леонтий, – вспомнил Лука. – К Марье-то странники пришли, ночевали нынче у нее.

– Кто такие?

– Мужик и баба с ним, молодые еще.

– А-а, – протянул Леонтий, сдержанно пережевывая огурец. – А у Петровича был?

– Быть-то был, – сказал Лука, раздумывая, есть ему хлеб или нет. – Да Петрович занемог маленько, ударенный он. Глаза-то напрочь заплыли, щелки одни.

– Кто ж его так-то? – пожалел Леонтий. – Безвредный старик.

– Да эти и ударили, странники, что у Марьи ночуют, – Лука все-таки отломил хлеба, прошептал молитву. – Будто дрова кололи и колун возьми и сорвись с черешка. Ну и Петровича по лбу.

– Вон как!

– А так ему и надо, – удовлетворенно сказал Лука Давыдыч и откусил хлеба. – Немоляка он, Петрович-то. Как с войны пришел – лба не перекрестил. Вот и получил по лбу! Бог его наказал.

– Нельзя так, Лука Давыдыч, – строго, но сдержанно заметил Леонтий. – Петрович без Бога словно в потемках живет, ему свет надо показывать, как слепому. Только осторожно, помаленьку, чтобы враз от света плохо не сделалось. Ты, Лука Давыдыч, вериги-то на что надел да обет принял? Чтоб грехи свои искупить, перед Богом покаяться. И чтоб потом братьев своих в смирении наставить. Зло-то, что против некоторых людей у тебя есть, ты сломи. Вера наша в добре – не во зле.

– Благодарствую, Леонтий, – виновато проронил Лука Давыдыч, – за науку, спаси Христос....

Лука стал есть молча и снова вспомнил про Марью Белоглазову. Может, умом тронулась Марья, коли до сих пор сына своего блудного ждет. Если и жив ее Тимка, то наверняка в тюрьме сидит, баланду хлебает да деньки до конца срока считает. Больно дерзкий сынок-то у Марьи, чуть что не по нему – в драку лезет. А Бог силушкой не обидел. Сама-то Марья тоже не чище, гордыня в ней так и бродит. Все они, Белоглазовы, такие были. И Кирилла ее, покойник, в тайге убиенный, тоже баламут был хороший...

Лука Давыдыч не любил вспоминать Кирилла Белоглазова. Другой раз на ум придет он, так Лука скорее открестится, отмолится от воспоминания, а в голове-то мысль знай зудит. В Макарихе, поди, уж забыли, что Кирилла перед самой войной вытворил, по крайней мере,

не поминают и в лицо не тычут. Луке же самому во всю жизнь не забыть. Макариха в ту пору охотой промышляла да орехом. В межсезонье дуги и полозья гнули для леспромхоза. Предвоенный год выдался непутевый: белка ушла от бескормицы – шишка еще летом в цвету обгорела от зноя. Осталось промышлять лишь птицей да полозьями. Но и с этим беда. Пойдут мужики глухаря бить – что такое? Стрелишь – крылья падают, а птица все равно летит. Или днем дугу на правиле загнут, она к утру возьми да полопайся. Вроде и запаривали как следует, и загибали, как всегда, но дуга вся в щепу исходит. Вот и сиди, играй этой щепой, как медведь играет, сиди, думай и плачь. Тут-то Кирилла Белоглазов возьми при народе и скажи; мол, знаю, отчего неудача в промысле. У Лукашки глаз черный. Стоит ему увидеть мужика, когда тот на охоту идет, – считай, пустой вернется. И полозья с дугами тоже от его глаза трескаются и лопаются, поскольку Лука ночами не спит и бродит чего-то по берегу, где дуги на правилах сохнут.

Кирилла тогда уж в возрасте был, лет сорока, начетчиком в общине считался. Не то чтобы слишком уж божественный был, а людей вокруг себя собирал, чуть что – к нему шли. И как-то с властями ладить умел, если выходило наезжать милиции и сельсовету в Макариху. Мужики выслушали Кирилла – а им-то что? Только повод дай. Стали припоминать: выходит, и в самом деле Луке перед охотой на глаза не попадайся, вмиг удачу отпугнет. Ты, говорят, Лука, колдун и с нечистой силой знаешься. А потому из тебя беса изгонять станем. А какой он, Лука, колдун? В молельне – тогда и молельня еще в Макарихе была – часами на коленях стоит, книги читает и, пожалуй, еще помудрее, чем сам Кирилла, толковать может прочитанное. А Кирилла – на тебе! – колдун! Что ночами Лука Давыдыч не спал и по земле ходил, так и это не из колдовства. За день-то так выспишься, что ночью глаз не сомкнешь. Вот и ходил Лука по берегу, о Боге думал да молился шепотком. Но Кирилла народ-то уже взбулгачил. Мужики в воскресенье разговелись медовухой и собрались из Луки колдовство вытравливать, по старому обычаю. На кобылу хомут надели, погоняли ее как следует, чтобы хомут пропотел, потом схватили Луку и давай его через хомут протаскивать. Лука дрыгался, верещал, геенной огненной грозился, но где там с выпившими мужиками сладить. Народ собрался на берегу – все хохочут: мол, сатана из Лукашки выходит! Ишь как он бесится!.. Страх вспомнить. И Марья Белоглазова там же стояла тогда. Громче всех хохотала. Насмеялась над Лукой, теперь по сыночку своему плачет.

Вот ведь, Леонтий-странник, божественный человек, можно сказать, святой, подаянием питается, травкой, а к нему, к Луке Давыдычу, в скит пришел. Ну, был у Луки грех, на то и жизнь большую прожил, в такой-то жизни как не согрешишь? Покачнулся он в вере однажды, смута на душе была, и ушли они с Тимкой Белоглазовым из Макарихи в нефтеразведку. Там уж всяко было, вспомнить грех, но вернулся же Лука назад, в скит пошел, вериги надел, молится денно и нощно. А Тимка ее – что? Сколько он, Лука, уговаривал его пойти назад, в Макариху? Грех кругом творится великий, души людские страдают. Ну, попытали они жизни другой – на то воля Господня, испытание такое. Еще когда первый срок они с Тимкой в колонии отсидели, просил: айда назад, вернемся в лоно лесов святых, в Беловодье наше, да где там, своротишь белоглазовскую породу.

Если разобраться да, как Леонтий говорит, без зла посмотреть, Марья-то, она не виновата. Жизнь у нее тяжкая выпала, а оттого и праведная. Мужика ее, Кириллу, дезертиры убили в тайге, сын из дому шестнадцати лет сбежал...

Лука Давыдыч думал, вспоминал и не сводил глаза со странника Леонтия. Молодой еще, а сколько всего знает и в вере вон как укрепился, и сомнений в душе нет. Ходит по свету, страдания терпит, голодает, постится, иной раз вернется откуда-то в скит Луки – одни его черные глаза на лице горят, так исхудает. И все книги читает да про жизнь мудро толкует. Вот бы так-то укрепиться духом и жить потом в благости и других укреплять.

– Пойдем, Лука Давыдыч, – Леонтий встал, перекрестился, – помолимся да спать будем. А прежде – тут вода теплая есть, дай-ка ноги твои вымою, праведник.

Лука Давыдыч засиял, но, как подобает праведнику, принял омовение спокойно, с достоинством. Леонтий ноги Луке вымыл, какой-то мазью из баночки смазал ссадины и натертую шею, перекрестил его: терпи, мол, страдания, и возгорится в душе твоей вера и любовь.

Потом они встали перед иконами в переднем углу избышки, когда-то срубленной и брошенной нефтеразведчиками, и стали молиться. Лука Давыдыч отбил сто поклонов и покосился на Леонтия. Тот же на коленях стоит и новую книгу читает. «Божественный! Божественный! – про себя изумился Лука. – Он мне ноги мыл – экий божественный!» И еще сто раз бил поклоны, брякая веригой о неструганый черный пол. Леонтий же застыл, вперясь в книгу, и только губы шевелятся да черная борода под лампадкой сверкает. Между тем в избышке стемнело, и странник, не вставая с колен, подобрался к окошку.

– Довольно, Лука Давыдыч, отдыхай, – заметил колебания скитника Леонтий. – А я еще постою да почитаю. Голод чую по Божьему слову.

Лука Давыдыч тихонько отполз на четвереньках к лежанке – подняться на ноги уж не было сил, – забрался на нее и, устроив вериги у себя под боком, как мать ребенка, тут же, кажется, и заснул. И сразу же ему приснился милиционер Халтурин, длинный, худой, кадыкастый, с рыжей кирзовой кобурой на поясе. «Поймаю! – заорал Халтурин и погнался за Лукой. – Я тя измором возьму, лешак болотный!» Лука побежал, а кругом болото, зыбун под ногами ходуном ходит. Ни урмана, ни гривки вокруг, куда бы можно сигануть от милиционера. А тот бежит, как сохатый, и наганом размахивает: «Стой, лешак, стой, не то стрелю!» И вот-вот уж настигнуть ему, но тут Лука вдруг речку увидел, болотную, с низкими берегами. Отвернуть некуда, только вплавь, и Лука бросился в воду. Но что за чудо! – не поплыл, а пошел, пошел по воде, едва ногами касаясь. И так быстро, что, когда оглянулся назад, Халтурин уже далеко отстал: забрел в воду по горло, орет что-то и наганом размахивает. Лука, чтоб подразнить милиционера, остановился, руку к уху приложил. «Чего тебе, Халтурин?» – «Ты куда же бегаешь, дурень ты этакий! – будто отвечает милиционер. – Я ж тебе хотел ноги помыть!»

Лука Давыдыч тут же и проснулся. Не открывая глаз, перекрестился: приснится же... Откуда же взяться Халтурину, когда его в сорок втором вместе с Кирилой Белоглазовым в тайге убили. И вместе их, мерзлых, белых, на волокушке привезли в Макариху. Видно, к непогоде покойник приснился... Лука открыл глаза и увидел склоненное над ним лицо Леонтия. На улице светало, и розовые блики играли на бороде странника.

– Сам ты их видел, нет? – спросил Леонтий.

– Кого это? – насторожился Лука.

– Да странников, что у Марьи.

– А, нет, не видал. – Лука прокашлялся. – Мне старуха Смердова сказала. Двое, грит, пришли, мужик и баба, пристали больно, глаза ввалены – пожалела...

– Местные или чужие?

– Кто их знает! А мужик-то, сказывала, бритый, лицо что бабья коленка...

– Марья-то шибко переживает? – озабоченно спросил Леонтий.

– Шибко, ровно не в себе ходит. – Лука почесал искусанную комарами шею. – Глаза мутные, не поднимаются.

– Эх, Марья Егоровна, – вздохнул странник. – Пойду я, Лука Давыдыч, утешу ее, а то и помолюсь за сына ее... Где ж ей еще утешения искать!

«Святой, – снова, засыпая, думал Лука. – Как есть святой! Исповедуюсь ему... Вот придет – и исповедуюсь...»

Никита Страстный

У него было пальто из дорогого черного сукна, с каракулевым воротником, еще дореволюционного пошива. И сидело-то на нем, как влитое, хотя было с чужого плеча. Гудошников носил его совсем мало, да и не сезон еще был, берег на зиму – кто знает, сколько еще проторчишь в Олонце. И берег еще потому, что пальто было подарком профессора Гуляева. Снаряжая его в дорогу, профессор вдруг хватился: «Батенька! Да как же вы поедете? У вас и одежды теплой нет, а Олонец, дорогой мой, это север!» А у Гудошникова, в самом деле, кроме солдатской шинели, в которой он пришел из госпиталя, ничего не было. Да и шинель-то уже вытерлась, обтрепалась, полы просвечивали. И тогда Гуляев вынул из своего шкафа вот это самое пальто и вручил, отмахиваясь от всех возражений. Для убедительности склонился к уху и прошептал, что, дескать, он сам все равно не износит теперь этого пальто, и не потому, что стар, а потому что – по секрету – боится надевать его. Времена такие, человека по одежке узнают, а пальто барское, за версту видно. Ему же, бывшему комиссару, можно, если остановят где, то у него документы вон какие и орден. Ему не скажут вслед: ишь вырядился, контра недобитая! А если и скажут, так ответить можно.

Никита берег пальто еще и потому, что хотелось вернуться в Петроград не оборванцем, не зипунным мешочником, которых в то время было на вокзалах и пристанях пруд пруди. По сути, он оставался всегда гражданским человеком, хотя и воевал комиссаром полка, и командовать приходилось, и в сабельные атаки полк водить. Он всегда считал себя гражданским человеком, хотя шинель надел вынужденно, в шестнадцатом году, угодив на фронт за участие в студенческих волнениях, и не снимал ее до двадцать второго, до того самого момента, когда профессор Гуляев вручил ему пальто. И, как истинно мирный человек, он чувствовал себя свободно и уверенно только в гражданской одежде.

Но к концу второго месяца старуха хозяйка потребовала расчет с постояльца, и надо было срочно что-то продать. Сначала-то все скромничала, отмахивалась – ладно, денег зарабатываешь – отдашь, и по вечерам иногда на чай приглашала в свою половину. Ставила самовар на стол, фарфоровые чашки, бог весть откуда взявшиеся в ее доме, случалось, и сахар в китайской вазочке, и тархтела: ей-де всегда приятно с интеллигентным человеком поговорить да почаявничать. Однако скоро потеряла интерес и будто невзначай стада говорить, что прибытка у нее никакого и живет она впроголодь: с хлеба на воду, потом и вовсе разговаривать перестала и лишь сверкала на постояльца недовольными глазами. Гудошников ждал, что ему предъявят счет, но не полагал, что так быстро и в такую пору: в Олонце стояла промозглая, сумеречно-тоскливая осень.

Он прикидывал, чем бы расплатиться со старухой, вытряхивал из мешка свой скарб, но ничего ценного для продажи не находил. Был у Гудошникова запасной, а вернее, лишний сапог на левую ногу. Хороший еще сапог, юфтевый, с высоким подбором, да кто его купит, один-то? Второй, правый, он носил сам и все думал, как бы и запасной перешить на правую, единственную ногу. Был у него еще офицерский френч, поношенный, но крепкий, из хорошего сукна, две рубахи-косоворотки и кавказский пояс. Однажды Гудошников хотел снести френч на базар – кончились последние деньги, – стал отвинчивать орден и пожалел. И был еще десятизарядный маузер без колодки, с гравировкой «Комиссару кавполка Н.Е.Гудошникову – герою Гражданской войны». Маузер был документом на все случаи жизни, а оттого свят и продаже не подлежал. Чтобы заплатить за постой, он ничего не мог продать, но вот за бумажку, за документ, за какой-нибудь мандат, в котором бы говорилось, что Никита Евсеевич Гудошников уполномочен осматривать архивы и собрания народных и частных библиотек, а также принадлежащих церквам и монастырям, – за него бы Гудошников, пожалуй, и маузера не пожалел. А такого мандата не было. И профессор Гуляев выручить не мог: археогра-

фическую комиссию упразднили. Поэтому Никита действовал как частное лицо, его попросту могли гнать отовсюду в шею, не подпускать ни к архивам, ни к библиотекам, но выручали френч с орденом Красного Знамени и протез. Гудошников принимали то ли за чекиста, то ли за какого-то уполномоченного, побаивались на всякий случай и документов пока не спрашивали. Но был в Олонце нужный Гудошникову человек, собственно, ради которого он и оказался здесь, и вот этому человеку было ровным счетом наплевать на френч с орденом, на протез и даже на маузер. А фамилия человека была ничем не примечательная – Жиляков, впрочем, как и он сам, бывший учитель олонцевской семинарии.

Добыть такой мандат в Олонце и думать было нечего. Тут хоть бы деньгами разжиться, чтобы заплатить хозяйке, но где их взять, когда здесь, кроме этой старухи да Жилякова, – ни одного знакомого? И заработать невозможно. Весь август он сторожил рыбокоптильню и колол там дрова, но в сентябре ее закрыли...

Старуха явилась рано утром и потребовала денег. Гудошников попросил еще раз отсрочки, обещая заплатить в октябре, сразу за три месяца, однако хозяйка и слушать не стала.

– Ты – калека, – отрезала она. – Тебе пособие должно. Зря, что ли, за советку власть ногу отдал?

И тут-то попало на глаза хозяйке его пальто. Видимо, она и раньше к нему приценивалась, поскольку вмиг определила, что от продажи пальто денег хватит заплатить и за постой, и еще кое-что останется.

– Я же замерзну! – взмолился Гудошников. – Зима скоро!

– А я тебе на остатние деньги шинельку дам, – нашлась старуха. – Она хоть и старовата, но стеганная изнутри.

Не долго думая, она принесла ему шинель, лежалую, пронафталиненную, зато пуговицы с орлами блестели как новенькие. Делать было нечего. Гудошников примерил шинель (не с убитого ли снята?) и согласился. Но старуха и на этом не успокоилась.

– Ты вот что, миленький, собирай-ка шмотки свои да съезжай. У меня родственница вот-вот нагрянёт.

В мирные времена, за чаем, старуха жаловалась, что одна-одинешенька осталась на этом свете, а теперь безбожно врала. И на постой-то она взяла его, чтоб «не скушно было одной». Гудошников сразу по приезде в Олонец жил в сарае торговых рядов и целыми днями шатался по базару, где продавалось и покупалось буквально все, в том числе и рукописные книги, как дрова, наваленные в телегу. Будущая его квартирная хозяйка продавала там всякое старье, среди которого Гудошников обнаружил отличный березовый протез. Ходил он тогда на костылях, на них же и выменял, с доплатой, правда, деревянную ногу. Старуха раздобрилась, расчувствовалась и позвала на постой.

Гудошников «съехал». Забросил котомку за спину и подался месить грязь на кривых олонцевских улочках. Тащились мимо крестьянские подводы с горбылем, мешками, с коровами, привязанными к телегам. Мужики на возах сидели чинно – в лаптях, в картузах, курили махорочку, дразня сладковатым дымком. Где-то пыхтел паровичок, тяжело дышали лесопилки, а на видном месте трепыхался на ветру красный плакат: «Кто не работает – тот не ест!»

Никита дважды заходил во дворы домов, спрашивал насчет жилья, но, получив отказы, махнул рукой и отправился на базар. Там он долго ходил, ковыляя между рядов, до одури пахнущих хлебом и салом, пока не отыскал знакомого уже крестьянина из Ильинского погоста. Мужик этот продавал соленую рыбу, а заодно и книги. Он разрешил Гудошникову рыться в своих сокровищах, а вместо платы заставлял его читать псалтырь.

– Благодсть какая! – восхищался он и вытирал слезы. – Душа радуется!.. А ты что же, из попов, что ли? Ишь, ровно батюшка читаешь-то!

И однажды, расщедрившись, подарил на выбор пять книг, да еще соленой кумжей угостил.

– Есть что новенькое? – поинтересовался Гудошников и уселся к мужику в телегу.

Мужик держал на коленях платок со снедью и лениво жевал.

– Гляди вон... – бросил он и пожаловался: – Не берут ни хрена. Говорят, написано непонятно.

Гудошников откинул тряпку, которой были прикрыты книги, и в глаза бросился пухлый, полурастерзанный том. Зашелестела в руках старая бумага, замелькали на страницах цветные украшения. То была лествица – собрание нравоучительных повестей примерно шестнадцатого века. Затем он осмотрел остальные книги, однако, кроме миней и месяцесловов с толкованием, ничего не нашел.

– Хоть бы купил когда, – ворчал ильинский мужик. – Ты-то вроде понимаешь, что писано...

– Того, что мне надо, у тебя нет, – сказал Гудошников, с сожалением расставаясь с лествицей.

– Откуда ты знаешь? – хитровато прищурился тот. – У меня в старой избе полный ларь стоит, чего там только нету... Как-то монах ко мне забрел, тоже, видать, понимал в книгах, так я его едва оттащил... Ишь ты, нету!

Гудошникова осенило:

– Послушай, братец, позволь мне глянуть в твой ларь. Может быть, я и подыщу что, а?

– Экий ты ловкай! – рассмеялся ильинский мужик. – По чужим ларям-то вы заглядывать умеете!

Не хотел Гудошников ссориться с ним, да на сей раз не выдержал: еще пальто было жалко и угнетало, что он бездомный теперь.

– А где ты их взял, эти книги? Твои они, что ли?

– Мои, – с достоинством сказал мужик. – Я их не крал. Валялись на земле, а я поднял. Если они властям не нужны – мне пригодятся.

– У-у, рожа кулацкая! – протянул Гудошников и, развернувшись круто, поковылял прочь. Через несколько шагов в его спину что-то тупо ударило и отлетело в сторону. Он оглянулся: в грязи валялась лествица – первое, что попало под руку разъяренному мужику. Кричать же он не мог, поскольку рот его был забит хлебом. Мужик торопливо жевал, давился, краснел и, потрясая кулаком, готовился что-то сказать. Гудошников наклонился, поднял книгу и скрылся между рядов. Вечером, уже в сумерках, Гудошников отправился в сарай на ночевку. Сарай стоял на отшибе торговой площади, за свалкой.

Подходя к свалке, Гудошников достал из котомки маузер и опустил его в глубокий карман шинели. Ходить через свалку было опасно. В городе рассказывали, что от укусов бродячих псов умерло, или чуть не умерло, несколько человек, поэтому свалку обходили стороной и без дела туда не совались. Гудошников прошел напрямую, через заросли чертополоха, кучи мусора и остановился у сарая. Сарай оказался занятым: из отдушины под крышей струился дымок, слышались неразборчивые детские голоса, а дверь оказалась запертой изнутри.

– Эй, пустите на ночлег! – крикнул Гудошников. В сарае притихли, громко зашептались.

– А ты не легавый? – спросили.

– Нет, я странник, – сказал Гудошников серьезно.

– Монах, что ли?

– Да нет, просто человек.

Долго не открывали, совещались, спорили, кто-то тихонько плакал. Наконец дверь приоткрылась. В щель выглянул лысый мальчик и тут же попытался захлопнуть дверь, но Гудошников рванул ее на себя.

В сарае сидело восемь беспризорников, которых он уже видел на улицах Олонца: парнишки лет по десять-четырнадцать. Они сбились в угол, и лишь глаза поблескивали в свете маленького костерка на полу.

– Свой, не бойтесь, – успокоил Гудошников и сел к костру. Дым плавал под потолком: щипало глаза и першило в горле. На перевернутом вверх дном сундуке лежала вяленая кумжа, золотисто-жирная, вкусная на вид: беспризорники ужинали.

– Да это же инвалид! – обрадованно сказал лысый пацан. – Так бы сразу и сказал, а то – человек!..

Мальчишки вернулись к «столу», расселись у костра и, шурясь от дыма, принялись упивать рыбу. Ели не жадно, видимо, были уже сыты и наедались впрок. Больше пили воду через край медного, подобранного на свалке таза.

– На, дядь, пожуй, – сказал лысый, протягивая Гудошникову кусок рыбы. – У меня уже пузо болит.

Гудошников молча взял кумжу...

– Табачку у вас не найдется?

– Самосад! – с гордостью сказал пацан. – Сами сушим – во!

Гудошников раскрошил в руках табачный лист и закурил. Мальчишки тоже начали вертеть самокрутки, швыряя носами и прикуривая от головешки.

– Где ранило-то? – деловито спросил лысый, видимо, вожак.

– На фронте, под Питером.

– А-а-а... Ну, а чего ходишь-то?

– Одну старинную книгу ищу, – сказал Гудошников. – Ты читать умеешь?

– По печатному умею, – с гордостью сказал мальчишка.

Доучиваться Никита Гудошников пришел в двадцатом. Вернулся на костылях, в шинели, человеком, повидавшим окопную жизнь в шестнадцатом, затем революция, Гражданская война, госпитали, голод и тиф. Здесь же, в университете, казалось, все было по-прежнему: лекции читали те же преподаватели, тем же хорошо заученным тоном. Случалось даже, что у кого-то из профессоров неожиданно срывалось обращение к аудитории – господа... Только «господа» в большинстве были одеты не в студенческие тужурки, а в гимнастерки, в английские френчи под солдатскими ремнями, в кожанки и тельняшки. И было еще одно отличие от старого: студенты контролировали работу профессуры.

К тому времени многие из преподавателей уже эмигрировали, однако из оставшихся, лояльных к Советской власти, с каждым годом нет-нет да кто-нибудь и уезжал за границу. Преподавателей не хватало, и бывший комиссар, проучившись два месяца, начал читать лекции и на рабфаке, и студентам-первокурсникам. В университете его знали, с ним уважительно раскланивались, шли за советами, и Гудошникову была уготована судьба «красного профессора».

Но случилось не предвиденное никем, даже самим Гудошниковым.

Летом двадцать второго года всегда тихий, далекий от политики, шестидесятилетний профессор Крон неожиданно уехал во Францию. Вначале прошел слух, что он связан с Савинковым и бежал из России, однако вскоре от него стали приходить письма друзьям, и в частности профессору Гуляеву. Гуляев стал заведовать кафедрой древнерусской литературы уже в советское время. Как и Крон, он был далек от политики, что всегда подчеркивал, и проявлял осторожность. Он часто советовался с Гудошниковым, хотя был чуть ли не втрое старше его, и Никита не видел в этом – ни малейшего заискивания профессора перед комиссаром. Он всегда помнил Гуляева аккуратным и старательным человеком, таким, глубоко интеллигентным, он оставался и сейчас. По сути, профессор был беспомощным в море революционных перемен, но, стараясь в них разобраться и не делать ошибок, спрашивал совета по любым мелочам.

(Можно ли, к примеру, заставить пересдавать зачет матроса, штурмовавшего Зимний дворец? «Можно! – смеялся Никита, – Пускай теперь науку штурмует!»)

На этот раз Гуляев пригласил Гудошникова к себе домой, и по тому, что профессор выглядел больным, растерянным, измученным, Никита понял: что-то серьезное.

– Понимаете, Никита Евсеич... – Гуляев вытер испарину со лба. – Крон прислал мне письмо... Оттуда...

– Ничего страшного, – успокоил Гудошников. – Если письма доходят, значит, все нормально.

– Да-да, я согласен, – засуетился профессор. – Я всегда считал Крона порядочным человеком... И потом, меня бы уже вызвали в ЧК. Но дело в том... Крон уехал налегке и теперь просит, чтобы я выслал его архив, который здесь остался. И списки приложил, что в первую очередь отослать. Архив, по его просьбе, я перенес к себе, мы жили рядышком... В архиве-то вещи безобидные: наброски статей, материалы по исследованию славянских рукописей и его переписка. Почти вся личного характера... Крона я знаю тридцать лет, это настоящий ученый, но он почему-то не материалы просит выслать, а именно письма... Я стал просматривать, отбирать и нашел одно любопытнейшее...

Гуляев торопливо открыл шкаф и вынул картонку, плотно набитую письмами. Руки его слегка подрагивали, но, показалось Гудошникову, теперь уже не из-за боязни, что его обвинят в связи с эмигрантом.

– Я бы никогда себе не позволил – чужие письма, – бормотал Гуляев. – Но Крон сам просил отобрать... Поверьте, я еще не был в таком... щекотливом положении. И вот пригласил вас, Никита Евсеич...

Профессор отыскал письмо, подал его Никите, а сам сел напротив, не спуская с него глаз. Письмо было адресовано Крону.

«Многоуважаемый Артур Карлович! – начал читать Гудошников. – Очень рад был получить от вас весточку в такое смутное время, когда уж на почту нет никакой надежды. С вашим письмом начинаю верить, что во всей России непоколебимым и прочным она, почта, только и осталась. Боюсь, что большевики и до нее доберутся. Молю теперь об одном: чтобы вы успели получить это письмо, поскольку у меня появились сведения, очень вас интересующие. Я не сообщал вам о своих розысках в последнее время только потому, что не знал, где вы сейчас и что с вами после переворота стало. Ведь нынче все умы России покидают родину и маются на чужбине. Очень рад, что вы не пострадали и не пострадал университет. У нас в Олонце говорят, будто все учебные заведения закроют, а помещения отдадут под казармы. Тут у нас многое изменилось после вашего приезда: семинарию закрыли и я теперь безработный.

Дорогой Артур Карлович! Мне удалось разыскать и встретиться с Христолюбовым. Зовут его Николай Николаевич, родом он из Вятской губернии, происхождением из крестьян, однако имеет образование. В Вятке он закончил гимназию, затем Киевскую духовную семинарию, но в сан рукоположен не был и служил в земской управе. Это тот самый человек, которого вы разыскивали в ваш приезд. Но тогда вы не знали его имени, а по вашим приметам найти его было трудно. Так вот, наш «вятчич» – это Христолюбов Николай Николаевич. В Олонце он живет с 1905 года, сейчас ему около шестидесяти лет. Живет скудно, снимает две комнаты в доме купца Микитова и у него же прирабатывает переписыванием деловых бумаг. Родственников в Олонце нет, помочь некому. Я посещал его дважды. Первый раз беседы не получилось. Но во второй раз мы поговорили. Собеседник он интересный, однако в разговоре трудный и проповедует атеистические взгляды, много философствует. Очень осторожно я намекнул, что интересуюсь древними рукописями и что слышал о его диковинной книге (как мы с вами условились). К моему удивлению, он сразу меня понял и достал из сундучка деревянный ящик с выдвижной крышкой. В ящике оказалась книга, хотя это назвать книгой трудно. Серо-жел-

тые пергаментные листы, сшиты какой-то ниткой, возможно дратвой. Христолюбов не вынимал книгу из ящика, а позволил посмотреть только ее первые листы, причем переворачивал их сам. По краям листов буквы видны слабо, но в середине они просматриваются хорошо. Написано в горизонтальную строку, без интервалов, черными чернилами, которые выцвели и теперь красноватые. Величина букв в высоту около четверти дюйма. С полной уверенностью могу сказать, что рукопись написана глаголическим письмом, коего прочесть я не смог, а только разобрал отдельные буквы. Есть там и знаки, напоминающие титлы. Впечатление такое, будто в рукописи все умышленно перевернуто, даже некоторые буквы. Без Вас мне ее не прочесть, даже если бы г-н Христолюбов позволил взять рукопись под залог. К книжному блоку отдельно пришит меньший по размеру лист пергамента, на котором кириллицей и другими по цвету чернилами написано: «Древнее письмо, писанное старцем Дивеем, язычником». Это все, что я смог увидеть и запомнить. Г-н Христолюбов тут же спрятал ящик в сундук и запер его на ключ. Я спросил, откуда у него появилась эта диковина, Николай Николаевич ответил, что рукопись досталась ему от отца – сельского старосты из Вятской губернии, к которому в свою очередь перешла от прадеда. У меня сложилось впечатление от рассказов Николая Николаевича, что рукопись эта хранилась в их семье как реликвия, в которой владельцы усматривали если не божество, то какой-то талисман или что-то наподобие талисмана.

Вам бы, Артур Карлович, самому следовало приехать и посмотреть ее, но время теперь смутное, опасное, и что ждать завтра – неизвестно. Погодить бы немного, пока не будет в России хоть какой-нибудь порядок...

Ваш покорный слуга *Андрей Жиликов*.

Февраля 6 числа 1919 года».

– Понимаете, о чем идет речь? – торопливо спросил Гуляев. – Вы понимаете, о чем он пишет Артуру Карловичу?

Гудошников не ответил. Он еще раз прочел письмо, рассмотрел конверт с царскими штемпелями и подпер голову рукой.

– Только поэтому я пригласил вас, – продолжал профессор. – Помню, вы очень живо интересовались деятельностью румянцевского кружка и теперь выступаете против пролеткульта...

– Это единственное письмо из Олонца? – спросил Никита осевшим голосом.

– Да-да, я прочитал все... – Гуляев взял картонку с письмами и замаялся. – Никогда бы не позволил себе... Но Крон сам... И в первую очередь указывал на это письмо... Вы поверьте мне, Никита Евсеич, я никогда не ощущал такого... Трудная ситуация... По долгу чести, уважения к Артуру Карловичу я должен послать ему письмо. Но Крон теперь там... у них... Не знаю, как быть. Потому и позвал вас...

– Выходит, диковинная рукопись господина Христолюбова – языческое письмо дохристианской Руси? – задумчиво предположил Гудошников.

Гуляев оживился, вскочил и забегал по комнате, не зная, куда поставить картонку. Никита помог, взял у него коробку, взвесил на руке.

– Выходит – да, милейший Никита Евсеич! – воскликнул Гуляев. – Вы представляете, что это значит? Вы... вы только подумайте, что произойдет?.. Мы совершим переворот, имея в руках эту рукопись!.. Я хотел сказать, переворот в умах наших историков и словесников! Я всегда, я всегда верил в существование письменности на Руси задолго до прихода Кирилла! И вот оно – доказательство! – Профессор потряс письмом, зажатым в руке, и неожиданно резко наклонился к Гудошникову, заговорил отрывистым полусшепотом: – Только за это я поддерживаю революцию! Только во время революции возможны такие открытия! Да-да!.. Я призываю вас, Никита Евсеич, товарищ Гудошников!..

– А если Крон уже ездил в Олонец? – резко спросил Никита.

– С семнадцатого Крон никуда не выезжал из Питера, – уверенно заявил Гуляев. – Дорогой товарищ Гудошников, умоляю вас, поезжайте и привезите рукопись! Я бы сам сию минуту отправился, но я уже стар, я не доеду...

Гудошников молча подтянул к себе костыли, встал.

– А этот покорный слуга Жиляков, похоже, сволочь, – возмутился он. – Как он о революции-то говорит...

– Ради всего святого! – молил профессор. – Поезжайте! Труда-то всего: наклониться и поднять... Я понимаю, вы инвалид, но кто же тогда поедет? Кого посылать?

Гудошников стоял, обвиснув на костылях, и думал, и судорогой сводило пальцы на левой, несуществующей ноге...

Он проснулся на мгновение раньше, чем сорвали дверь и осветили фонарем сарай. Протез был отстегнут, культя без привычки уставала и болела. Гудошников нашарил в темноте деревяшку, но застегнуть ремни не успел.

– По одному на выход! – скомандовал кто-то невидимый из-за слепящего света. – Ну, живее!

Рука инстинктивно нырнула в карман с маузером, однако Гудошников вовремя сообразил, что это не война, не враги, а лишь милиционеры.

– А, мелочь пузатая! – воскликнул кто-то и добавил облегченно: – Беспризорники здесь, не суетись, ребята... А то сигать будут.

Гудошников пристегнул протез и только сделал попытку встать, как от дверей крикнули – ни с места! – и в свете возникла рука с наганом. С улицы заскочили еще двое, окружили Гудошникова, обшарили карманы и нащупали маузер. Гудошников пробовал отбиваться, объяснять, в чем дело, но его не слушали – заломили руки, выхватили оружие и толкнули на улицу. Беспризорники толпились у входа под охраной милиционеров.

– Ведите его! – распорядился кто-то.

Один из милиционеров подошел к Гудошникову и, клацнув затвором винтовки, коротко бросил:

– Айда.

Гудошников выматерился и пошел, тяжело припадая на неловко пристегнутый протез.

– Офицерик! А говорил – книгу ищет, – донеслось вслед, и Гудошников понял, что это про него.

Его привели в помещение уездного ЧК и посадили под замок. Объяснений никто слушать не хотел, котомку и документы забрали. Гудошников свирепел от бессилия и, посидев в камере минуту, начал барабанить в дверь.

– Горяч, парень, горяч! – донеслось до него из угла камеры. – До утра будем сидеть. Не долбись. Ложись, хоть поспим в тепле.

Все было в жизни Гудошникова. Университет, война, революция, опять война, госпиталь, инвалидность и тиф, который свалил его сразу же после того, как поджила отнятая нога. После тифа на лице один нос остался, два мутных глаза и выпирающие вперед оголенные зубы с высохшими, превратившимися в нитку губами. Но всегда Гудошников оставался свободным. А тут схватили, не разобравшись, бросили в камеру. И кто? Свои!

Он отстегнул протез и, привалившись к косяку, стал долбить им дверь. Протез был крепкий, с кованной железом «ступней», тренированные костылями руки не знали устали. Охрана камеры не выдержала и пяти минут. Едва скрежетнул замок, Гудошников ударил двери плечом и, отбросив милиционера протезом, оказался в коридоре. Милиционер выхватил наган и попятился.

– Где начальник?! – задыхаясь от возмущения, крикнул Никита. – Живо начальника сюда!

Трясущимися руками он с горем пополам зачихал культю в мягкую полость протеза и затянул ремни. Милиционер растерянно крутил головой, но нагана не убирал.

– Товарищ Муханов?! – неуверенно позвал он. – Товарища Муханова надо! Тут один...

Гудошников взглянул вдоль коридора и, сплюнув, выругался. По коридору торопливо шел командир эскадрона его, Гудошникова, полка, Серега Муханов. Скрипела наглухо застегнутая кожаная куртка, по-морскому, у бедра, болтался револьвер в кобуре.

– Муханов! Ну-ка объясни, в чем дело? – спросил Гудошников, словно они только вчера расстались. – Пусть твои орлы вернут мне маузер и документы!

Муханов остановился, дернул головой.

– Товарищ комиссар?.. Гудошников? Ты как здесь?!

– Это у тебя спросить надо – как, – отрезал Гудошников. – Почему это ты героев гражданской войны бросаешь за решетку!

Милиционер опустил наган и опешил.

– Ну, что встал? – напирал Гудошников. – Если ты здесь начальник – прикажи, чтобы отдали маузер и документы.

– Вещи и документы быстро ко мне! – опомнившись, распорядился Муханов, затем крепко пожал руку Гудошникова. – Ты извини, Никита... Товарищ комиссар, по ошибке тебя задержали...

– Ничего себе! – возмутился Никита. – Ты бы меня еще по ошибке в расход пустил!

– Да ну, – виновато улыбнулся Муханов. – Разобрались бы... Пошли ко мне!

В комнате с деревенскими лавками вдоль стен Муханов усадил гостя за стол, а сам присел напротив.

– Фу, черт, как оплошали. Ну ты прости меня, товарищ комиссар.

– Да хватит тебе! – оборвал его Никита. – Как барыня, извиняешься... Ты-то, Муханов, как здесь очутился? Что это я тебя раньше здесь не встречал?

– А ты был у нас?

– Бы-ыл, – отмахнулся Гудошников. – За помощью приходил, а ваш дежурный отправил меня, частное лицо, говорит... Муханов, ты же в Питере был?

Бывший комэск вдруг погрузился, насутился, и Никита увидел перед собой усталого, обозленного человека, мало чем похожего на удалого кавалериста Серегу Муханова. Носил когда-то Муханов закрученные в шильце усы, сапоги в гармошку и саблю с золотым темляком. Теперь и усы обвисли, и сапоги сношенные, а вместо сабли – наган в кирзовой кобуре...

– Я уж год как здесь, – проговорил Муханов. – Начальник уездной ЧК...

– Вот мать твою... – по-кавалерийски выругался Никита. – Что же я раньше тебя не встретил? Ты мне вот так, по горло, нужен, Муханов! Помощь твоя нужна, гада одного взять!.. Эх, ну что же раньше ты мне не попался!..

– А я, товарищ комиссар, на месте не сижу, – недовольно отозвался Сергей. – Я из седла не вылажу... Два дня назад убили начальника сплава и подожгли лесозавод... Банды кругом, белофинны лезут... А у меня в ЧК – полэскадрона не наберется, ну, еще милиция...

Он замолчал, и стало слышно, как стучат большие напольные часы, совершенно лишние в убогой обстановке комнаты. За дверью, в коридоре, гремели сапоги, доносились брань и непонятный говор. Милиционер принес котомку и маузер Гудошникова, молча положил на стол и вышел. Никита заглянул в котомку, нащупал орден, привинченный к френчу, проверил документы, маузер и успокоился.

– Мне доложили, что офицера взяли у беспризорников. – Муханов тряхнул головой, словно отгоняя невеселые мысли. – Ты как в сарай попал?

– Ночевать было негде. Дожил я тут в Олонце до ручки: ни денег, ни крыши над головой.

– Погоди-ка... Ты что, на жительство сюда приехал?

– На какое жительство? – отмахнулся Никита. – Приехал искать одну очень древнюю книгу... Как тебе объяснить... Рукопись, понимаешь? Написанную еще до крещения Руси, неким старцем Дивеем... Рукописью владел Николай Николаевич Христолюбов, ваш олонецкий житель. Но он в девятнадцатом умер от чахотки, а рукопись исчезла. Жилияков знает, где она, но молчит, сволочь!

– Погоди, кто такой – Жилияков?

Глядя на Муханова, Гудошников сообразил, что тот ничего не понял, и принялся рассказывать, как встречался с профессором Гуляевым, как потом отправился в Олонец, чтобы «нагнуться и поднять», но вот уже два месяца ищет людей, близких Христолюбову, чтобы узнать, куда делась рукопись.

Однако чем больше распалялся Гудошников, чем больше напирал он на редкость неизвестного письма, тем сильнее скучнел и терял интерес Сергей Муханов. Он встал, расстегнул кожанку и задумчиво облокотился на сейф. За дверями кто-то истерично кричал, требуя прокурора и защитника, мерно стучали и посверкивали маятником часы.

– Понимаешь, Муханов, если я сейчас не найду эту книгу – она пропадет, – тише, без прежнего энтузиазма, сказал Гудошников. – Пойми ты, эта вещь не имеет цены... Не в смысле денег, а как национальное достояние, как история русского народа!.. Я смогу доказать, что письменность на Руси возникла не с христианством, а намного раньше, на несколько веков. Представляешь, как это меняет дело?.. Эх, не представляешь... Хорошо, растолкую: не попы научили письменности русский народ, а сам народ, понимаешь? Чувствовал потребность в письме – вот и научился писать. А то ведь что получается у нас, Серега: пришли на Русь попы и вроде как революцию совершили, из невежества народ вытащили! Ты понял, какую заслугу приписывает себе христианство? Вот и поборись потом с религией, когда у них в руках такой исторический козырь... Но козырь-то – ненастоящий!

– Это я понимаю, – после некоторого раздумья сказал Муханов. – Мы тут тоже боремся с религиозным дурманом, монастырь вот закрыли, а всех дармоедов оттуда по погостам расселили.

– И правильно, – подхватил Гудошников. – Только я не о том пока, Серега... Закрывать монастырь – одно дело, надо же народу показать, что религия – ложь, глаза ему открыть, вселить чувство национальной чести. А доказательство – рукопись, но сейчас такое время, Серега, что она может пропасть, и все...

– Ты извиняй меня, комиссар, я почти неграмотный, – развел руками Муханов. – Я бывший фельдфебель, две войны прошел – некогда было учиться... Слушаю тебя и не узнаю. Раньше все было попроще... Как ты говорил: светлое будущее надо начинать строить сегодня, уже здесь, на фронте, в конном строю. Сегодня ему угрожает враг, мы должны защитить революцию... А завтра нас ждут новые дела, и ничуть не легче войны, так что не успокаивайтесь, товарищи. Мы и революцию делали для того, чтобы строить... Еще какие-то стихи читал... Я каждое твое слово понимал, в рот тебе заглядывал и сейчас еще часто вспоминаю. Верно ты говорил: дела, не легче войны.

– Я от своих слов не отказываюсь, – Гудошников приподнялся. – Могу повторить еще...

– Да я верю тебе, товарищ комиссар, – перебил Сергей. – У меня сомнения в другом... Я думаю сейчас, что важнее для революции и для светлого будущего... Про что хоть там говорится, в книге этой?

– Если бы я знал! – бросил Никита и, подумав, добавил: – Может быть, летопись, может быть, сказание о княжеских походах... Взялось ведь откуда-то «Слово о полку Игореве»!

– О княжеских походах, – вздохнул Сергей. – Эх, товарищ комиссар. Я, конечно, малограмотный, но все-таки понимаю, что за штука – история! И литературу тоже понимаю, – он стал расхаживать от стола к двери: привычка военных – ходить и думать. – Ты прав, время сейчас такое... Вон начальника лесосплава ломом закололи! Лесопилку подожгли, убытков

на сто тысяч!.. А беспризорников сегодня видел?.. Не знаю, товарищ комиссар, как ты, а я спать не могу. Они мне во сне снятся. Приходят будто, тянут руки и говорят – дядя, арестуй нас, мы хоть в камере выспимся.

– Ладно, не рассказывай, – отрезал Гудошников. – Видел... Только ты не понял меня, Муханов... Ничего, разруху мы осилим. Это временно, если еще интервенции не будет. И дети учиться станут и жить в нормальных условиях. Ничего!.. И бандитов искореним. Ты вот, Серега, и покончишь с бандитизмом. А как с вещами, которые мы потом уже не восстановим? С книгами как?.. Это же... как тебе сказать... История нашей страны! От нее нельзя отказываться! Есть сейчас лихие головы, кричат – долой всю дореволюционную культуру, создадим свою, пролетарскую!.. А на чем создадим?.. Нам нельзя отрываться от нашей истории, без нее мы будем как бродячие собаки вон на свалке... Через эти книги мы связаны с нашими древними предками!.. А их вон мужик в телеге на базар привозит и продает! Копченую рыбу и – историю! Между прочим, книги эти еще беспризорнее и беспомощнее, чем дети...

– Не ожидал от тебя, товарищ комиссар, – после паузы сказал Муханов и сел к столу. – Обидно даже... Значит, по-твоему, какая-то древняя поповская писанина сейчас важнее, чем дети? Чем эти голодные ребятишки?

– Ты так вопрос не ставь! – Гудошников стукнул по столу. – Важнее... Все важно!

– Э, нет! – озлился Муханов. – Ты прямо говоришь – для тебя книги... А сегодня надо не книги, а детей спасать! Это живые люди, комиссар! Они есть хотят, спать хотят. Мы ради них с тобой воевали, если на то пошло. Чтобы им жилось хорошо. Они и есть наше светлое будущее!.. А книги твои подождут. Вот устроим детей, уничтожим бандитов, тогда ищи, соберай сколько тебе влезет. И денег тебе на это дадут.

– Хорошо, Муханов, но эти же дети и спросят потом с нас, почему мы не спасали книги. Они захотят знать историю! А ее памятников уже не будет. Близко локоть, а не укусишь!.. Да, сейчас кажется, пока не надо, успеем еще, но запомни мои слова, Муханов: хватимся, придет время, каяться будем. Было-то всего: нагнуться и подобрать, – Гудошников перевел дух и добавил: – А мы пока топчем. Товарищ Ленин говорит: без старого мы нового не построим.

– С тобой невозможно, – поморщился Муханов. – Ты сразу – говорил, говорил... Товарищ Ленин говорил вообще, а не по этому случаю. И Ленин, кстати, о детях в первую очередь заботу проявляет. Я сердцем чую – о них надо хлопотать в первую очередь.

– Обо всем надо хлопотать, – упрямо повторил Гудошников. – Я лично ничем не могу помочь этим ребятишкам...

– Нет, можешь! – отрубил Муханов. – Ты если сюда попал, так возьми и организуй детский дом! Помещение есть. Отдадим бывший монастырь. А ты – человек образованный, герой войны. Да за тобой ребятишки толпами ходить будут!

Гудошников насторожился. Вспомнился сарай, слезающиеся от дыма глаза мальчишек, куски крепко соленой рыбы в грязных ручонках, грязный таз с водой, умело скрученные сигарки... У лысого мальчишки, предводителя компании, видно, был стригущий лишай: струппа еще не сошли. А самый маленький, лет восьми, плакал во сне... Вернее, нет, скулил, как щенок, – звук исходил откуда-то из груди – может быть, оттого, что не умел или слишком много плакал. Наевшись рыбы, мальчишки ночью жутко страдали от жажды, а воды уже не было, и Гудошников слышал, как шелестели пересохшие губы и языки.

Звук этот показался Гудошникову страшным.

Ночью он сходил к колодцу, принес воды и, расталкивая детей, поил их, полусонных, забнувших – ком подпирал к горлу...

– Мне поручено организовать детский дом, – спокойнее продолжал Муханов. – Борьба с беспризорностью теперь в ведении ЧК... Я бы взялся, не откладывая, но ты видишь, какая обстановка в уезде? Белофинны еще лезут... А кому поручить?

– Не заставляй меня делать выбор, – глухо проговорил Гудошников.

– Я не заставляю, я прошу, – глядя в пол, ответил Муханов. – Не будь ты моим комиссаром, я бы нашел на тебя управу, я бы тебя заставил.

В это время дверь распахнулась, и в комнату вошел милиционер с повязкой на лбу, в окровавленной шинели.

– В хуторе, – тяжело выговорил он, – перестрелка была... Наши все целы... А вашего Шлюнько убило, наповал...

Муханов вскочил, взмахнул руками, но, ничего не сказав, опустился на лавку.

– Мы его сюда привезли, – добавил милиционер. – Куда положить?

– погоди, – остановил его Муханов. – Я посмотрю на Шлюнько... Тогда в морг... Живым хоть одного взяли?

– Раненый есть, – доложил милиционер. – Двоих убили в перестрелке, а один сам себя, из нагана... Все не олонецкие, чужие. Похоже, офицеры...

– Раненого показать фельдшеру и допросить, если можно, – распорядился Муханов. – Я сейчас приду.

Когда они снова остались вдвоем, Гудошников тяжело вздохнул, подпер голову руками.

– Ладно, – сказал он. – Найду книгу – останусь здесь, помогу.

Муханов горько усмехнулся и встал, застегивая кожанку.

– Через неделю ударят морозы... Куда им, ребятишкам?

– Иначе – не имею права.

Сергей глянул на него исподлобья, поджал губу.

– Хорошо, – не сразу согласился он. – Тогда я тебе сам помогу найти эту... твою дорогую книгу. Что-нибудь придумаем. Жиликова твоего тряхнем как следует...

Никакой особой помощи от олонецкой ЧК Гудошников не ждал и обещаниям Муханова не очень-то поверил: у него своих дел неупрочен. Небольшой отряд из чекистов и приданных им красноармейцев вместе с начальником уезжал куда-то с раннего утра, возвращался поздно, а то и вовсе пропадал дня на два-три. По ночам Сергей вел допросы, подолгу беседовал с какими-то людьми, запершись в своем кабинете, или сидел в засадах. Гудошников он поселил в подвальной комнате здания ЧК, где спал иногда сам, наказал дежурным выдавать ему солдатский паек (пакет убитого в перестрелке Шлюнько) и словно забыл о своем бывшем комиссаре. Несколько дней Никита терпеливо ждал, когда освободится Муханов и они «тряхнут» Жиликова, но, так и не дождавшись, снова отправился в самостоятельные розыски.

О смерти владельца диковинной рукописи Христолюбова Никита узнал вскоре после приезда в Олонец. Дом купца Микитова он разыскал без труда, но самого купца уже давно не было в городе, а комнаты заселяли теперь рабочие, приехавшие на лесопильный завод. И только старушка из бывшей прислуги купца вспомнила одинокого старика, жившего когда-то в этом доме. И, вспомнив, всплакнула.

– Он, горемычный, три дня после смерти лежал, пока хватились да двери сломали. Умирал – воды подать некому было...

– Где его вещи? – спросил Гудошников. – Кому передали вещи?

– Вы что же, родственник его? – спросила старушка. – За вещами приехали?

– Родственник, – сказал Гудошников.

– Э-э, да какие теперь вещи найдешь? – вздохнула она. – Нынче время такое – люди теряются – не найдешь. Вот батюшка наш, Алексей Иванович Микитов, как пропал в переворот, так доселе нету. А жалованья мне не заплатил...

– Может быть, кто на похороны приезжал? – спрашивал Никита, чувствуя безнадежность. – Родственники, друзья?

– И не помню, батюшко, не помню, – охала старушка. – Нынче так все меняется, память-то и схватывать не поспевает... Может, и был кто... А какие вещи-то у старика были? Похо-

ронили в заплатанной рубаше... Какие были, так на продукты сменял, поди... Гол как сокол старичок-то был.

– Может, какие вещи людям раздавали, кто хоронить помогал, – напирал Гудошников. – Как это по обычаю положено...

– Хоронили-то его извозчики, – вспомнила старушка. – Отвезли на кладбище да закопали... Может, что и брали – кто знает?

В комнатах Христолюбова жила многодетная семья погорельцев. О бывшем хозяине квартиры ничего толком не знали: помер какой-то старик, их переселили сюда – вот и все. С позволения новых жильцов Гудошников обшарил в квартире все углы, поднял несколько половиц и даже стены простучал. Никаких тайников, конечно же, не было, а вот сундук, о котором упоминалось в письме Жиликова, стоял на месте. И погорельцы подтвердили: переехали сюда – сундук был, только пустой. И в доказательство выгребли из него свои скудные пожитки. Никита посмотрел внутрь, пощупал рукой темные от времени стенки... Вот здесь еще недавно лежала рукопись. Ее можно было вынимать из сундука, класть на место: она была реальной, видимой... Тихая, щемящая злость овладела Гудошниковым. Почему раньше молчал профессор Крон? Он знал о рукописи еще в девятнадцатом, но почему молчал?! Он, активный деятель археографической комиссии, тогда еще существовавшей? Почему даже Гуляеву, давнему приятелю и сподвижнику, и словом не обмолвился о письме из Олонца? Хотел быть единоличным первооткрывателем дохристианской письменности на Руси либо вовсе не желал, чтобы такое открытие произошло?

Сиди вот теперь и гадай, а толку от такого гадания – ноль, потому что нет в России Крона, нет в живых Христолюбова. И нет рукописи, писанной таинственным письмом.

Но был еще Жиликов – видевший ее! Возможно, что он остался единственным из тех, кто когда-либо притрагивался к бесценным пергаментным листам...

Жиликова дома не оказалось. Молодая еще, косоглазая женщина, в китайском халате, недружелюбно осмотрела Гудошникова, скользнула взглядом по ордену на френче, протезу и, как показалось, глядя в сторону, бросила:

– На службе Андрей Павлович, в семинарии.

И захлопнула перед носом дверь. Гудошников не надеялся на радушный прием, однако холод и даже какое-то презрение возмутили его. Он постоял перед закрытой дверью, затем, изловчившись, пнул ее и заспешил по ступеням вниз. За спиной щелкнуло, визгливо скрипнули петли.

– Что еще нужно? Что вы ходите стучите? А еще инвалид!

Никита не дослушал и тяжело ступил на улицу. Ковыляя в семинарию, он пытался успокоить себя и одновременно ругал за мальчишество. Ну зачем в двери-то пинать? Кто виноват, что его не встречают с распростертыми объятиями? Кто – сам-то он? Инвалид, говорят, инвалид, и всё! Ну орден имеет, так им, всем этим «бывшим», награда его как бельмо на глазу. По письму видать, семейка Жиликовых не из тех, кто принял революцию. Эта порода еще опаснее врагов. Тех хоть в бою можно шашкой достать, а эти, лояльные, живут себе, посмеиваются, и ничем ты их не возьмешь. Ишь, ведьма косоглазая, – инвалид!..

Слова этого Гудошников терпеть не мог и не считал себя инвалидом, не успел еще в свои двадцать с небольшим лет свыкнуться с собственным увечьем и частенько, забывшись или спросонья, вскакивал, делал шаг и валился на бок, сразу же вспоминался жаркий июльский день девятнадцатого года, крохотная деревенька на рыжем от зноя бугре, откуда били орудия. Лавина конников заходила с фланга, но почему-то очень медленно, как казалось комиссару полка Гудошникову. Лошади сгрудились у овражка, смешались, потом вытянулись в цепь вдоль него и пошли как-то вяло, словно раскисли на жаре. Между тем батарея белых уже засекла маневр, и первые снаряды вздыбили землю у оврага. Чей это был эскадрон, Никита не знал, может, и brave Муханов сомлел тогда от зноя, но надо было спасать атаку. Комиссар выехал

из укрытия и поскакал напрямую, минуя овраг. Жаркий ветер облизывал потное лицо, разгоряченный жеребец нес всадника по полю на виду у белых пушкарей, и Гудошников уповал лишь на то, что снаряд на него тратить не станут. Он уже достиг кустарника в начале оврага, пригнулся, чтобы не сшибло фуражку, и в это время взрыв опрокинул его вместе с лошады. Ремень карабина перехватил горло, притянул к груди голову, однако комиссар инстинктивно вскочил на ноги, как полагается в сабельном бою, чтобы не затоптали свои, и тут же рухнул на землю. Ступня левой ноги почему-то была вывернута назад, из разорванных галифе хлестала кровь. А рядом бился в агонии жеребец с распоротым брюхом и курилась, остывая, воронка...

Ногу пытались спасти и отняли только через месяц, когда от конской шерсти в ране началось гниение. В то время в России, плодившей калек с войны четырнадцатого года, слово «инвалид» было привычным и расхожим, но Гудошникову оно казалось таким же уродливым и неестественным, как и его культя...

Неподалеку от здания семинарии Никита остановился передохнуть, оглядел сводчатые, пыльные окна, высокое, на три стороны, крыльцо с парапетом. «Что же это у них семинарию до сих пор не закрыли? – вспомнил он ответ жиляковской домочадки. – Или по старинке еще зовут...» Однако, приблизившись, он увидел кумачовый транспарант над входом: «Первая пролетарская школа для рабоче-крестьянских детей». Кумач уже выцвел, пообтрепался, как солдатская гимнастерка, но от этого выглядел только внушительнее и прочнее.

Гудошников простучал протезом по лестнице на второй этаж, отыскал учительскую. В школе шли уроки, и тишина в коридорах, живое дыхание в классах сразу напомнили университет. Никита тут же мысленно поспорил с Мухановым. Вот они, пролетарские дети, сидят за партами, учатся, растут, не успеешь оглянуться, как пойдут дальше, в университет. Кругом разруха, голод, банды, а будущее уже вот оно, пока еще в лаптях, косоворотках, но дай срок! Дай срок, и все это отшелушится, отлетит, и настанет час, когда этим детям нужны будут не только кусок хлеба и крыша над головой. Обогревшись и насытившись, они захотят познать себя – откуда они, что они значат в этом мире? Так будет, в конце концов, это диалектика. И вот тогда-то они и спросят... В учительской оказалась лишь какая-то девушка, то ли ученица, то ли молоденькая курсистка, присланная поднимать народное образование. Длинное платье с глухим воротником, тоненькая шея и русая коса до пояса.

– Мне нужен Жиляков, – поздоровавшись, сказал Никита.

– Андрей Павлович? – отчего-то удивилась девушка и скользнула взглядом по френчу с орденом. – Я не знаю... Возможно, он у себя...

– Где? На уроке?

– Как вам объяснить, – замялась она. – Это в другом крыле, там комнатка такая есть... Каморка...

И вдруг, спохватившись, сбивчиво начала объяснять, что Жиляков больше не работает в школе, что его уволили еще в прошлом году, как и было предписано, а уроки словесности ведет теперь она. Но Жиляков до сих пор ходит в школу и запретить ему невозможно, потому что приказано было только не допускать его к ученикам, а в остальном указаний не поступало. Вот он каждый день и появляется в школе, ходит по коридорам или сидит в каморке...

Гудошникова опять принимали за уполномоченного.

– Мне нужно поговорить с ним, – пояснил Никита. – По важному делу. Я из Питера.

– Я провожу! – с готовностью вызвалась учительница. – А вы... не по жалобе приехали? Будто Андрей Павлович жалобу писал...

– Какая жалоба? – не понял Гудошников. – Я из университета.

– А, тогда вы не знаете! – чему-то обрадовалась она. – Ну, идите за мной, я провожу.

Они прошли по коридору, затем черной лестницей спустились на первый этаж и оказались в тупичке – полутемном, пыльном, с битой мебелью на полу и с выпирающей, как человеческие ребра, штукатурной дранкой по стенам.

– Тут осторожно, – предупредила учительница. – Не запнитесь.

Никиту покорила ее участливый тон: опять ему напоминали, что он – инвалид. Однако он смолчал и, освобождая проход, с силой двинул колченогую парту. Груда ломаной мебели зашевелилась, загрохотала, взметнулся столб пыли. Проводница Никиты остановилась возле низкой двери в конце тупика и несмело постучала.

– Андрей Павлович, к вам пришли. – За дверью никто не отозвался. Учительница пропустила Гудошникову вперед. – Он здесь, заходите.

Никита потянул дверь на себя и оказался в маленькой комнатке со скошенным потолком. Похоже, здесь когда-то держали ведра, тряпки, паркетные щетки, но теперь вместо этого инвентаря в каморке у окна стоял облупившийся ампирный стол и несколько тщедушных стульев. На одном из них, повернувшись к свету, сидел высокий, сухопарый человек лет шестидесяти, одетый в черный учительский мундир и белую манишку.

– Чем обязан? – мельком глянув на вошедшего, бросил Жиялков.

Никита присел на стул.

– От Артура Карловича привет принес, – изучая Жиякова, сказал он. – От Крона Артура Карловича, вашего знакомого.

– Я вас не понимаю, – сухо проронил Жиялков и покосился на протез. – Кто вы?

– Из Петрограда, моя фамилия Гудошников, – сдержанно представился Никита. – Учусь и работаю на кафедре, где когда-то был Крон...

– Почему – был? – встрепенулся Жиялков и замер.

– Потому что был, – отрезал Никита. – Был и нету.

– Догадываюсь... – пробормотал бывший учитель с неожиданной хрипотцой в голосе. – Что вам угодно, молодой человек?

– Кое-что угодно... Например, что вы знаете о Христолюбове? Николае Николаевиче?

Жиялков еще раз оглядел гостя – френч с орденом, распахнутую шинель, – видимо, что-то сопоставлял и не мог сопоставить.

– Такого человека я не знаю, не помню.

«Сволочь», – подумал Никита, ощутив бессилие перед неприступностью Жиякова. – Сейчас вспомнишь, сволочь!»

Он вынул из кармана френча письмо Жиякова к Крону, неторопливо развернул.

– Вот ваше письмо к профессору.

Перед тем как пойти на розыски бывшего учителя семинарии, Гудошников много раз проиграл в уме встречу с ним, продумал, как себя вести, что говорить. Письмо он решил не показывать без крайней надобности, но держать при себе и, лишь когда настанет необходимость, предъявить его как самый веский и бесспорный аргумент. Теперь же, вынув конверт, вдруг понял, что поспешил, что разговор по плану не получился, и как пойдет дело дальше – неизвестно. С человеком, видевшим рукопись, а может, теперь и с ее владельцем, нужно было вести себя иначе. Больше дипломатии и никакой горячки! Ведь сколько раз твердил это себе. Жияков свое письмо узнал, но, и уличенный, не смутился, наоборот, стал прямее и горже.

– Николай Николаевич умер в девятнадцатом.

– Это я знаю. Где его вещи?

– Я не был у него душеприказчиком.

«Знает! – отметил Гудошников. – Еще как знает!»

– Где языческая рукопись?

– Не ведаю. – Лицо Жилякова стало спокойным, он положил руки на колени. – Зачем вам она, молодой человек? Зачем вам, революционному солдату, понадобилась языческая рукопись?

– Она нужна республике. России.

– России? – деланно удивился Жиляков и встал, чуть не касаясь потолка головой. – Россия сейчас нужен хлеб, паровозы и... патроны. Россия сейчас без хлеба и патронов как вы без... – Он взглянул на протез Гудошникова, посмотрел в окно. – Россия после переворота мечтает о новой, пролетарской культуре, – хладнокровно продолжал Жиляков. – Старье на слом, на свалку, на помойку! Все заново, как от рождения Христа. До семнадцатого года Россия жила во мраке, творила буржуазную культуру, и не было в ней Рублева, Тредиаковского. И протопопа Аввакума не было, и Пушкина, и Рахманинова. Тем более, молодой человек, не было языческой рукописи, как самого старца Дивея. Это все проклятое прошлое, тяжкое наследие капитализма.

– Неправда! – резко встал Гудошников и пристукнул стулом. – Все было! И останется и будет!

– Что останется? Дома, каналы, паровозы?

Жиляков по-прежнему был спокоен, даже чуть ленив, и только синяя жилка на виске под тонкой кожей билась напряженно и часто.

– И Рублев, и Пушкин, и «Слово о полку Игореве», и Рахманинов останется, и старец Дивей.

– Я не верю.

– Сейчас можете и не верить. Скоро увидите сами.

Бывший учитель посмотрел на Гудошникова с интересом, но в уголках сжатых губ таилась злоба.

– Я уже видел! – неожиданно воскликнул он и метнул свою длинную руку в сторону окна. – Я видел, как зорили монастырь!

– Монастыри закрывают, по воле народа. – Гудошников стукнул ножками стула. – Республике не нужны дармоеды.

– Согласен, но зачем же библиотеку-то в грязь? Зачем книгами дорогу мостили? – Глаза Жилякова блеснули и тут же потухли. – В монастырской библиотеке были автографы Ефросина, энциклопедический сборник... А иконы рубили? Золотые и серебряные оклады не бросили, молотком сплющили и увезли, а иконы – под топор! Иконы-то подороже окладов были, я знаю, что говорю, знаю! И вашим этим... товарищам говорил там, – он снова показал в окно. – Ответили так же, как вы: по воле народа, дескать, дармоеды не нужны...

Никита молчал. В пыльной комнатке вдруг все загрохотало, вздрогнул потолок, пошла трещинами штукатурка: вверху по лестнице бежали дети... Жиляков посмотрел на задымившие сухой известью стены, распрямился, плечи расправил.

– По воле народа? Нет, народ кругом стоял, смотрел, – тихо проговорил бывший учитель, когда стук детских ног над головой смолк. – А дорогу мостили и рубили извозчики... Извоза сейчас мало, так они на все руки мастера стали... Так что я уже посмотрел, не хочу больше смотреть, не желаю. Увольте.

– И все-таки, где рукопись? Я приехал за ней из Питера, из университета. – Гудошников держал себя в руках, старался говорить мягче. – Эта рукопись не может принадлежать одному человеку, это национальное достояние, и вы должны понимать.

– Хотите продать за границу и купить паровоз? – Жиляков смотрел уверенно, независимо и этим злил Никиту. – А что? Вам дадут за нее паровоз, может быть, даже два. Смотрите, не продешевите. Только сначала отыщите ее! Я не смог остановить извозчиков там, возле монастыря, а здесь останавливаю! И горжусь этим! Можете меня арестовать, расстрелять... Со мной делайте что хотите.

Он отвернулся и стал смотреть в окно. Жилка на его белом виске успокоилась, улеглась, словно ему и впрямь было все равно, что с ним сделают.

Гудошников долго смотрел в спину Жилякова. Вести разговор дальше было бессмысленно, следовало уходить, но он никак не мог сдвинуться с места. Над головой снова раздался стук детских ног, скрип деревянной лестницы и разноречивых голосов. Никита развернулся и под этот шум пошел к выходу.

Целую неделю Гудошников жил в подвале ЧК, ожидая, когда наконец освободится Муханов; целую неделю рыскал по городу в поисках бывших соседей Христолюбова и извозчиков, хоронивших его. Извозчиков – хмурых, бородатых мужиков – он нашел на пристани, где они сидели в ожидании какой-нибудь работы. Сидели они молча, одинаково скрестив руки, глядели без любопытства, с тоской, а отвечал Никите за всех один:

– Знать не знаем... Сказано было закопать – закопали. А как звали упокойника – не ведаем.

– Кто вещи у старика забирал? Кто еще на похоронах был? – напирал Гудошников.

– Нам овсом заплатили, а кто вещи забирал – не знаем...

Муханов спустился в подвал через неделю, когда ударили первые заморозки. Пришел невеселый, молчаливый.

– Беспризорников я вроде как арестовал и в монастырь отправил, – будто между прочим сообщил он. – Двух красноармейцев туда послал, охранять и печи топить. Жрать нечего, так пусть хоть в тепле сидят.

– Не могу... – тихо сказал Гудошников. – Ты меня таким способом не агитируй.

Предводителя компании беспризорников – лысого, в струпьях, мальчишку – он встретил несколько дней назад среди собак, стерегущих базарную свалку. Пацан сидел на рыбной бочке и что-то жевал. Стая бродячих псов, расположившись полукругом, заглядывала ему в рот. Едва Никита приблизился, как серый кобель с обмороженными ушами поджал по-волчьи хвост и ощерился.

– А, это ты, инвалид! – обрадовался мальчишка, и кобель успокоился. – Оторвался от ментов или выпустили?

– Оторвался, – в тон ему сказал Гудошников.

– Я тоже! – Пацан стукнул босой ногой по бочке. – Кирия, вылазь!

Из бочки появился мальчишка лет пяти, в лохмотьях, в калошах, надетых на босую ногу. Никита вынул из кармана ломоть хлеба, разломил, протянул детям. Однако лысый забрал обе половинки.

– Мы седни уже хавали, – сказал он. – Утром съедим, Кирия, потерпи.

Кирия заплакал. Собаки, насторожившиеся было при виде хлеба, заскулили.

– А наших всех повязали, – вздохнул лысый. – Мы вот только вдвоем остались.

Гудошников отвернулся, сжал кулаки, до скрипа сомкнул зубы.

– Дай маленечко, – протянул Кирия. – А то я спину чесать тебе не буду...

– Ладно, – смиротворился предводитель и, отщипнув кусочек хлеба, отдал мальчику. – Жуй, а то помрешь – хоронить придется.

– Вот что, орлы, пошли со мной! – сказал Гудошников и взял маленького за руку. – У меня тут один подвальчик есть, тепло, светло и мухи не кусают.

– Какой подвал, где? – насторожился лысый. – Я все подвалы в Олонце знаю.

– Да есть тут один, меня пустили, и вас пустят. Пошли!

– Темнишь, дядя, – не поверил лысый, а Кирия вырвал свою ручонку из руки Никиты и тут же юркнул в бочку. – В подвалы нынче не пускают.

– Ну, в ЧК тот подвал, у Муханова, у моего товарища, – объяснил Гудошников. – Он ругаться не будет, пустит.

– А иди-ка ты в баню! – посоветовал лысый. – Гуляй-гуляй, инвалид! А прикидывался – книжку старинную ищу! Гуля-ай!

Собаки заворочались, приступили к лысому вплотную – то ли защищая, то ли чуя запах хлеба у него за пазухой.

– Замерзнете ведь, ребяташки! Скоро зима!

– Ничё! С собаками мы не замерзнем! – рассмеялся предводитель. – С собаками тепло, не впервой! А ты иди, иди в свой подвал!

Муханов был понурым, озабоченным, красные от бессонницы глаза смотрели в пол.

– Арестовал-то арестовал, да ведь разбегутся, – рассказывал он. – Их ни теплом, ни кор-межкой не удержишь. Зиму просидят, а весной – в бега...

– Эх, Серега, Серега, – вздохнул Гудошников. – И как тебе все объяснить?

– Ты не объясняй, комиссар, – отмахнулся Муханов. – Кстати, у Жиликова той рукописи, которую ты ищешь, нету. И не было.

– Откуда ты знаешь?!

– Я время зря не терял, – усмехнулся начальник ЧК. – Проверил – нету. Жиликов обмолвился, что рукопись будто в монастырь отдали.

– Что же теперь делать? – Никита лихорадочно стал пристегивать протез. – Все равно Жиликов должен знать, где рукопись! Должен! В какой монастырь? В здешний?

– Мы его вызовем, побеседуем, – сказал Муханов. – Но будет ли толк?.. Знать он, может быть, и знает, но не скажет, потому что обозленный, никому не верит.

Гудошников вспомнил разговор с Жиликовым в подсобной комнате бывшей семинарии. И согласился с догадкой Муханова – не скажет, потому что не верит...

– Да, кто закрывал здесь монастырь? – вспомнил Никита.

– Монастырь? А уполномоченный товарищ приезжал из Питера. Разулевич его фамилия. И наши местные товарищи... По округе ездили, подписи народа собирали – закрывать, не закрывать... Большинство подписалось: закрывать, – Муханов вдруг рассмеялся. – Монахи-то наши, знаешь, что в прошлом году зимой удумали? Еду как-то, гляжу – везут воз льда, сами пешком идут. Один на плече безмен несет. Ну, думаю, точно оружие везут подо льдом. Я монахов в связях с бандитами подозревал... Говорю: что это у вас? А они – святая водичка! Мороз, дескать, бутылки-то лопаются, а мы льду напилили, освятили его и верующим везем. На Крещение дело было. Они, черти, отвешивают на безмене лед и продают населению! За хлеб: фунт – на фунт!

– Кто приказал монастырскую библиотеку в грязь бросить? – перебил его Гудошников. – Кто велел иконы рубить?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.